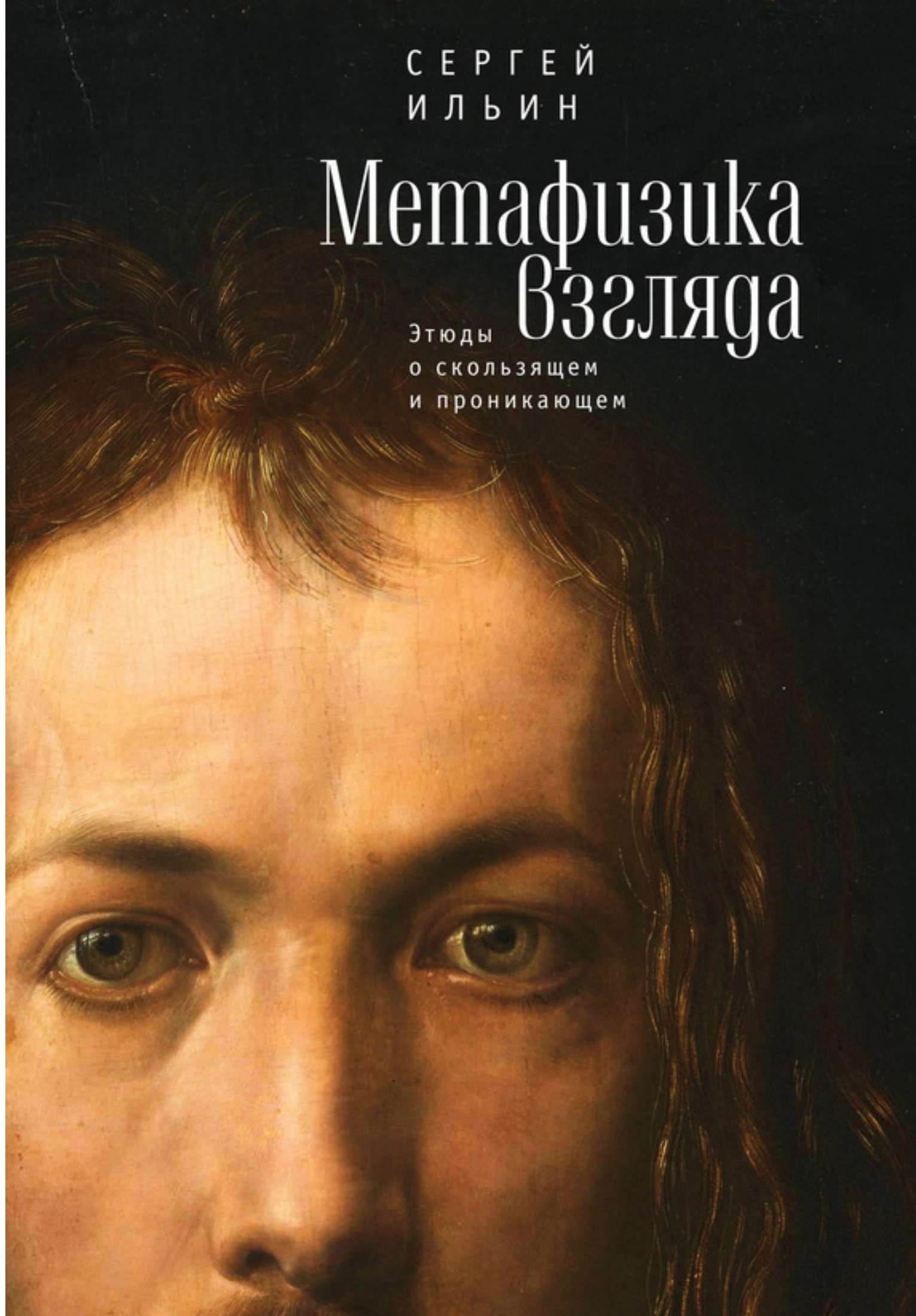


СЕРГЕЙ  
ИЛЬИН

# Метафизика Взгляда

Этюды  
о скользящем  
и проникающем



Тела мысли

Сергей Ильин

**Метафизика взгляда. Этюды  
о скользящем и проникающем**

«Алетейя»

2017

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6

**Ильин С.**

Метафизика взгляда. Этюды о скользящем и проникающем /  
С. Ильин — «Алетейя», 2017 — (Тела мысли)

ISBN 978-5-906910-39-4

В новой книге объединены самые различные жанры: философская притча, контрапунктная фантазия, психологический этюд, эссе, классический портрет, бытовая зарисовка, шутливая сценка, мифологическая интерпретация, искусствоведческий комментарий, книжная рецензия, филологический анализ, автобиографический рассказ, схоластический трактат, религиозный диспут и завершающая все и законченная в себе философия. Стилистически всех их роднит стремление темы-мысли раскручиваться и «парить» на едином дыхании. Остается надеяться, что причудливая многожанровая семья с привычной доброжелательностью примет в свой гостеприимный круг благосклонного и любознательного читателя.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-906910-39-4

© Ильин С., 2017

© Алетейя, 2017

# Содержание

I. Познавая себя и ближнего	6
Конец ознакомительного фрагмента.	42

**Сергей Ильин**  
**Метафизика взгляда. Этюды**  
**о скользящем и проникающем**

© С. Ильин, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

\* \* \*

*Виктории посвящаю*

## І. Познавая себя и ближнего

*Четыре города.* – То ли потому, что Мюнхен не слишком большой и не слишком маленький, а может потому, что живописная горная речка протекает через самый его центр и на зеленых берегах ее можно беспрепятственно купаться и загорать, то ли по той причине, что славный и в меру одиозный Франц-Иозеф Штраус заблаговременно приютил в этих исконно аграрных краях современнейшую индустрию, а то ли по причине небольшого «магического квадрата», оформившего центр города так, что по нему можно гулять ежедневно – и нисколько не наскучит, или еще потому, что сам фюрер когда-то облюбывал его, а может просто вследствие гармонического архитектурного соседства всех минувших эпох – от Средневековья до современности, – как бы то ни было, но этот город, который даже близко нельзя отнести к числу самых красивых городов мира, тем не менее, по единогласному заверению очень многих и разных людей, разумеется, не коренных мюнхенцев, людей повидавших весь мир и могущих сравнить, является самым благоприятным городом в мире, – просто для того, чтобы жить в нем повседневной жизнью.

Но есть ли для города лучшая похвала?

Зато только в трех городах мира – Венеции, Амстердаме и Санкт-Петербурге – и конечно же по причине их сквозной пронизанности водными каналами непроизвольно рождается желание бродить по ним часами, днями, месяцами, годами, столетиями – и не надоест: тут дело в том, что разорванные образы домов, деревьев, неба и людей не только отражаются в зеркальной поверхности воды, но и как бы уходят вглубь ее, так что складывается впечатление, будто внешний мир не запечатлен намертво на водных зеркалах, подобно насекомым на гербарийных иглах, но обладает таинственными нишами в глубине зеркал, куда он (мир) по странной прихоти исчезает и откуда снова возвращается, а поскольку время, как и свет, имеет не только квантовую, но и волновую природу, то и вся прошлая, но также и будущая жизнь этих городов, вместе с биографиями их прежних и будущих жителей, принимает участие в этом магическом спектакле наравне с настоящим моментом, причем не то, что мы видим, слышим и представляем, бродя как зачарованные по улицам вдоль каналов, существенно, а существенно как раз то, что нельзя видеть, слышать и представлять, – оно и есть единое на потребу: то великое и невидимое бытие, слитное предощущение которого сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни и осуществление которого мы обычно видим либо в боге, либо в смерти, – да, вот в такие минуты древняя, как мир, сделка с дьяволом приходит на ум: продать душу дьяволу за возможность вечно бродить по этим трем заветным городам, – и хотя сделка эта заведомо проигрышная – ведь никогда дьявол не предложит человеку больше, чем Господь-бог – все-таки в данном случае это посмертное блуждание по Венеции, Амстердаму и Санкт-Петербургу, разумеется, без ограничений во времени и пространстве, без страха смерти и телесного разрушения, даже без оправданного опасения, что нам все это рано или поздно наскучит, зато с неотразимой – потому что запретной – прелестью проникновения во все дома и квартиры со всей их таинственной внутренней жизнью и в пределах суммарного исторического времени, – итак, это потустороннее блуждание, уступая заранее господним возможностям – разве астральные миры не превосходят в бесконечные разы ареалы трех названных городов? – да, это фантастическое, безумное, одержимое греховной поэзией блуждание представляется все-таки настолько экзистенциально обоснованным и соблазнительным, что заведомо проигрышная сделка с дьяволом насчет продажи души как-то сама собой приходит на ум, – и не то что бы мы на нее согласились, выражаясь вместе с Атосом, но о ней можно хотя бы поразмыслить на досуге.

Но есть ли для города слава выше этой?

**Добрый знак.** – Если когда-нибудь в начале марта, выйдя из подъезда и увидев соседа-немца, выбрасывающего мусор (чрезвычайно добродушного и общительного человека) вы спонтанно разговариваете и он по ходу разговора, заглянув в безоблачное голубое небо, мечтательно промолвит, что вот наконец-то наступила весна и зимняя депрессия закончилась, а вы сами не зная почему вдруг скажете, что, напротив, весной-то и разыгрывается настоящая, матерая, нутряная депрессия, но сосед не поймет вашу мысль, однако на всякий случай понимающе улыбнется, а вы, поскольку у вас всегда были хорошие отношения с ним и еще по причине вашего боевого настроения в данный момент, подтвердите вашу догадку классической фразой о том, что нынче прямо «Моцарт разлит в воздухе» (а ведь это, в сущности, все равно что сказать: «Я только что позавтракал яичницей»: в том смысле, что как дважды два четыре) и тогда сосед ваш очень пристально взглянет на вас, и в его взгляде вы ясно прочтете два вопроса: первый – «Здоровы ли вы душевно?», и второй – «Не издеваетесь ли вы над ним?» – так вот, после того как вы разубедите его в обоих пунктах и даже искренне попытаетесь разъяснить ему вашу точку зрения, и разговор ваш примет привычное житейское направление, и вы от души проболтаете еще минут сорок, – знайте, что после этого разговора вы ни сблизитесь, ни отдалитесь, и ничего нового вы ни друг о друге, ни о мире не узнаете, – зато у вас будет шанс догадаться, что никогда еще, быть может, ваш скрытый комплекс неполноценности не выражался с такой детской наивностью, с такой гениальной простотой и с таким неподдельным очарованием, – а поскольку тайное, становясь явным, не обязательно исчезает, то и вы после разговора останетесь под впечатлением некоторого томительного недоумения, как и ваш сосед, – и все-таки первый шаг сделан, «лед тронулся», как говорил незабвенный Остап Бендер, и никогда еще никакой день не начинался так хорошо, как этот: в этом вы можете быть вполне уверены.

Но пока только в этом.

**Недоразумение.** – Прогуливаясь по Зендлингерштрассе, одной из самых характерных улиц Мюнхена, и остановившись в задумчивости подле Старых Ворот из красного кирпича, этой трогательной достопримечательности города, где в аркадах сидит как обычно старик-нищий, рассеянно разглядывая праздную толпу и пытаясь придать лицу униженно-просящее выражение, вы замечаете какую-нибудь грациозно продефилировавшую мимо молодую женщину с точеными чертами лица, осиной талией, белой блузой поверх черной майки, в плотно облегающих джинсах и с теннисной повязкой вокруг высокого сжатого лба; далее, вы видите, что обратил на нее внимание и старик-нищий: в разодранном пальто, смахивающем на картофельный мешок и замусоленной кепкой в руке, он тоже провожает женщину внимательным долгим взглядом, но в его глазах, когда он поворачивается к вам и почему-то неуверенным жестом указывает на кепку, не отражается и следа известного волнения, – и вот как всякому русскому человеку, воспитанному на Толстом и Достоевском, вам хочется сказать ему что-нибудь общечеловечески веское и утешительное, вроде того, что, мол, жизнь, что ты с нами делаешь? – однако он, точно догадавшись о ваших несурзных мыслях, недовольно от вас отворачивается, – и вот тогда экзистенциальная ненужность любого слова, если оно не подкреплено жестом или поступком, а еще лучше, жизненной позицией того, кто его произносит, то есть негласное предпочтение ему волевого молчания и вечной и бесконечной, как универсум, дистанции, – да, вот тогда эта крошечная деталь опять и в который раз бросается вам в глаза как, пожалуй, главное отличие между тем, что есть мир западный, и тем, что мы понимаем под русским миром.

**Одержимость порядком.** – Как, наслаждаясь жизнью, нельзя все-таки забывать, что всегда и в любом месте может случиться что-нибудь такое, что с этим наслаждением, мягко говоря, совершенно несовместимо, и это принадлежит к сущности самой жизни, так живя в Германии и пользуясь ее во многих отношениях образцовой организацией социальной и общественной

жизни, тоже нельзя забывать, что к вам тотчас же и в течение буквально четверти часа подойдут полицейские, если вы, например, будучи усталым, вздумаете коротко прилечь на скамейке, или, привлеченные какой-нибудь живностью, вступите на газон, или не дай бог! заедете на велосипеде не туда, куда разрешено, – короче говоря, Дамоклов меч за малейшее нарушение немецкого порядка всегда и везде висит над вами, и не то что бы это так уж страшно – полицейские здесь очень вежливы, да и сами вы только внутренне выиграете, если научитесь уважать величайшую святыню немецкой нации – в конце концов «в чужой монастырь со своим уставом не лезут» – однако эта поистине метафизическая страсть немцев соблюдать порядок в таких мелочах, которые представителям других – и тоже всеми уважаемым европейским – наций даже в голову не придут, страсть, которую можно сравнить разве что с рыцарской скупостью пушкинского Барона или с мрачной одержимостью героев «Бесов», – она, эта страсть, быть может, намекает на какое-то древнее таинственное проклятие, висящее сызмальства над этой великой нацией, – и ни монументальные свершения в области культуры, ни опустошительная слава колоссальных разрушительных и саморазрушительных войн, ни даже примерная забота государства о благе граждан, а также их званых и незваных гостей, – абсолютно ничто не может заставить забыть нас об этом проклятии: оно как родимое пятно, по которому мать даже спустя десятилетия узнает свое родное дитя, и в нем, этом пятне, столько мелочности, чреватой величием, и вместе столько величия, чреватого мелочностью, что, увы! все прочее для чужестранца может выветриться со временем из памяти, а вот эта самая исконная немецкая черточка останется в сознании, точно ее там нацарапали гвоздем: в ней, кстати, при желании можно найти объяснение всем противоположным и мнимо несовместимым между собой проявлениям исторической жизни немцев.

И совсем уже в качестве постскрипtum. – Когда я вижу, как на абсолютно спокойном отрезке какой-нибудь проселочной дороги собираются баварские полицейские, чтобы установить там радар или организовать усиленный контроль водителей, когда я вспоминаю, как однажды прямо передо мной на тротуар выехал полицейский автомобиль, слепя глаза, и у меня проверили документы только потому что я, с точки зрения проезжающих мимо полицейских, подозрительно заглянул в собственную машину (я хотел убедиться, подтянут ли ручной тормоз), и когда я сравниваю все это с нашим семейным голландским путешествием, где за все недельное пребывание в этой чудесной стране мы увидели без всякого преувеличения всего лишь пятерых полицейских – да и то двое из них, точно шутки ради, гарцевали на конях – то кафковская гипотеза о том, что преступление притягивает закон, обретает также и обратную значимость: закон тоже, оказывается, притягивает преступление – в том смысле, что он его самым буквальным образом материализует из пустоты: быть может, точно также как врачи не столько лечат, сколько создают и материализуют болезни.

И как природа кафковской гипотезы насквозь художественна, а значит двусмысленна, так точно зыбко и противоречиво ее приложение к сравнительной криминальной статистике Германии и Голландии: с одной стороны, в Голландии за последнее десятилетие было закрыто около десятка крупнейших тюрем, а в действующих тюрьмах так много свободных мест, что голландцы за деньги содержат там преступников из соседних стран, однако с другой стороны, Амстердам считается после Лондона самым криминальным в Европе городом (хотя я этого совершенно не почувствовал), а суды в Голландии склонны просто многих преступников отправлять не в тюрьмы, а на социальные работы: потому-то так много там свободных камер!

И все-таки противоречие (в статистике двух стран) есть противоречие, его так просто не объяснишь, – и чем черт не шутит: быть может, лучшего его уяснения, чем при помощи кафковской гипотезы, вообще не существует!

**Милые странности.** – Как же отрадна иной раз страждущему от уныния и скуки взору на европейских улицах та мгновенно бросающаяся в глаза неопределенность в азиатской паре,

когда по виду женщины трудно решить, приходится ли она сопровождающему ее мужчине женой, матерью, подругой, дочерью или сестрой, правда, Будда говорил, что все мы были женами, матерями, подругами, дочерьми и сестрами в прежних жизнях, – но ведь тут все сразу и одновременно.

При желании, однако, можно найти к этой истории и своеобразный постскрипtum, а именно: если войти в общение с этими людьми и поближе узнать их, а потом сравнить полученные сведения с вышеописанным первым впечатлением, которое должно было продемонстрировать наше неподражаемое остроумие, – то выйдет довольно сложное и противоречивое ощущение: с одной стороны, нам будет немного стыдно за наш иронический перл, как нам всегда было немного стыдно, когда на место серьезного отношения к тому или иному явлению жизни выступала попытка увидеть его в дымке улыбочивого (само)отрицания, но с другой стороны эта глубочайшая азиатская непроницаемость не позволит нам слишком уж стыдиться подмеченного и быть может несколько надуманного наблюдения, тем более что улыбка над милой парочкой будет являться снова и снова, – и вот тогда мы догадаемся, наконец, что ирония только тогда оправдывается вполне как целостное видение жизни, когда ее субъект готов отдать за нее жизнь, а в идеале еще и в процессе жертвования жизни каждую минуту сохраняет на лице и в сердце ту божественную улыбочивость, которой, кажется, никто кроме Сократа похвастаться не мог.

И потому, чтобы не оступиться и не сойти на ложный путь, лучше вовремя вспомнить, что все учителя человечества и религиозные деятели не жаловали иронию, а значит и нам следует идти вслед за большинством: все-таки жить с улыбкой на лице в той степени легче, чем без нее, в какой трудней умирать, хотя, с другой стороны – и это последний аргумент в пользу Сократа – именно ирония, а не так называемое религиозное чувство, есть главный и единственный признак, отличающий людей от животных, а быть может и от всех остальных живых существ.

*Вдали от родины.* – Хитрость русского человека как та абсолютно неразстворимая в воде таблетка, что остается на дне стакана, когда после долгой беседы рассосались в душе и в желудке и нечеловеческая откровенность, и нечеловеческое любопытство, и нечеловеческое гостеприимство, и нечеловеческая теплота, и нечеловеческое благодушие, – и вот хочется иной раз выплюнуть таблетку, да вовремя осознаешь, что она подобна тому ребенку в пресловутой ванной, которого все-таки не следует выплескивать вместе с водой, – уж не есть ли сие свойство общий знаменатель нашей ментальности, тот самый, которую имел в виду В. В. Розанов, когда записал свою знаменитую фразу: «Посмотришь на русского человека одним глазком, посмотрит он на тебя одним глазком... И все ясно без слов. Вот чего нельзя с иностранцем».

Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить, что ход нашей истории всегда был как бы предопределен свыше – в том смысле, что главный ее участник: русский народ в лице его низших и средних сословий в ней никогда по-настоящему не участвовал, и верхи всегда определяли политически-общественную жизнь в страны: отсюда ее торжественно-однообразный, напоминающий местами православный молебен, характер, а весь национальный организм – точно гигантская декоративная фигура, поднявшаяся на котурнах: она даже не ходит по сцене по причине неудобства обуви, но застыла в величавой, хотя несколько неестественной позе, а вокруг нее повисла тревожная, томительная атмосфера... что-то будет!

Эта странная зловещая тишина, обычно предшествующая катастрофам, повисла над Россией, по-видимому, давным-давно, когда именно, и сказать нельзя, как невозможно определить хронологическое начало сказки, и ее трудно было услышать, потому что она, как малая матрешка, изначально была облечена в тот великий и предвечный левитановский покой, который, играя роль более крупной матрешки, и по сей день одухотворяет иные российские пейзажи.

Наша великая тишина, из которой вышло все лучшее, доброе, вечное, и наше великое историческое бездействие, породившее то, что отталкивает от нас многие, слишком многие народы, были слиты воедино, и конечно же, триединый славянофильский образ самодержавия, православия и народности, в европейском масштабе являясь глянцевым кичем, все же в нас и для нас кое-что да значил и значит до сих пор, более того, он по-прежнему неотделим от суммарного представления о русской культуре и русской душе, как неотделима от глухой нашей глубинной деревушки какая-нибудь белотелая церквушка с золоченым куполом и малиновым звоном, да еще неподалеку от узкой речушки со степным простором на одной стороне и сосновым бором по соседству с березовой рощей на другом берегу.

В такой вот благодатной, удобренной столетиями тишине трудно расслышать пронзительное безмолвие приближающейся трагедии, как непривычно распознать в странном, бесшумном и гигантском оттоке воды от берега приближающийся из океана цунами.

В такие часы чувствуешь себя зрителем фильма, из которого выключили звук: все вроде бы происходит так, как в нормальной жизни, а звук выключен, звук исчез – душа всего живого и ощущение – точно в кошмарном сновидении, нет чувства реальности, ее место заняла пугающая призрачность, – такое впечатление производит наш Санкт-Петербург: самый нерусский с точки зрения ее предшествующей истории и вместе с самым русским в плане ее же театральной сущности.

Так точно и в жизни отдельного человека бывают минуты, когда ему кажется, что будущего для него больше нет, потому что все главное, для чего он рожден, уже сделано, а исполнение повседневных нужд только усиливает чувство пустоты, сгустившейся вокруг него; подчиняясь инстинкту жизни, он ищет для себя какие-то задачи, способные оправдать его ставшее вдруг ненужным присутствие в этом мире, но все рушится и обваливается под его руками, а сам он, как во сне, падает все глубже в состояние полной прострации.

Такая минута, раздвинутая в эпоху и многие эпохи, есть русская история в ее сокровенном бытийственном сюжете, и в разные периоды нашей истории это чувство присутствовало с неодинаковой интенсивностью, но полностью никогда не исчезало, – вот почему, наверное, русский эмигрант так хорошо и так естественно чувствует себя за границей: нет, он не сделался ни немцем, ни англичанином, ни французом, да у него и мысли такой не было, он остался русским и стал им за границей едва ли не в большей мере, чем прежде, когда жил в России, потому что то характерное ощущение двойного отсутствия – себя в своей стране и страны вокруг себя – оно на расстоянии стало восприниматься острее и отчетливей.

Да что говорить? на днях я ехал в мюнхенском метро, напротив меня сели две русские женщины преклонного возраста, но далеко не старухи, конечно же, недавно приехавшие из России и обосновавшиеся в Германии, и вот одна стала рассказывать другой, как она записалась в какой-то творческий немецкий кружок – ну типа наших песен и танцев – и как все поначалу было вроде бы хорошо, до тех пор пока она не стала регулярно приносить на занятия блины и пирожки и от души ими всех участников угощать.

Сначала ее благодарили, потом как-то стали недоуменно переглядываться, затем вопрошительно на нее смотреть и наконец руководительница кружка прямо ей сказала, чтобы она прекратила заниматься подобной благотворительной деятельностью, – женщина обиделась и вышла из кружка: «Я же все от души делала, – пожаловалась она соседке по сиденью, – но немцы, знаете, такие сухие и странные», – и та как будто с нею согласилась.

А я поневоле вспомнил, как в конце семидесятых прошлого века, сразу по приезде в Германию, когда русских здесь можно было буквально по пальцам пересчитать, я все-таки неприятно морщился, когда вдруг случайно слышал родную речь в общественном транспорте или на улице и, хотя я не мог обойтись без Толстовской Библиотеки, хотя жена у меня была русская, хотя думал и писал я на русском языке и общался удовольствием с некоторыми российскими эмигрантами, хотя мама у меня осталась в России и судьба родной страны была для меня далеко

небезразлична, все-таки никогда мне не забыть того тайного, глубочайшего, безраздельного и постыдного по большому счету блаженства, которое я испытывал, будучи отделен от миллионов моих соплеменников тем самым Железным Занавесом, падение которого так приветствовала прогрессивная История, но так оплакивало практически все население Западной Германии и в первую очередь русские эмигранты Первой, Второй и Третьей волны.

Наверное, с тех пор мало что изменилось, потому что, наблюдая в метро за теми двумя женщинами, я тоже тщательно избегал их взглядов и вообще делал все, чтобы в сидящем напротив пассажира женщины не узнали своего соотечественника: ведь если бы я внимательно взглянул на женщин «одним глазком», то и они, быть может, пригляделись ко мне «одним глазком», – и тогда мы «поняли бы друг друга без слов», а вот этого мне почему-то не хотелось.

Почему? быть может, ответ заключен в такой, например, «Эмигрантской балладе». —

Простая история с нами  
случилась – от будней сбежали,  
и дверцу в стене под плющами  
волшебную мы отыскали,

вошли: за мансардным оконцем  
виднелась часть летнего сада —  
а лучшего места под солнцем  
нам было уже и не надо.

Соблазны мирского уюта —  
увы! эмигрантское свойство —  
обняли, как щупальцы спрута,  
святое души беспокойство,

но стало в сердцах раздаваться  
природы кармической Слово:  
«В российской юдоли рождаться  
придется вам снова и снова,

до тех пор пока не поймете,  
что лучшей не выпадет доли —  
пока для себя не найдете  
на сцене истории роли,

что пыль всем в глаза не пускает  
значенья громадного ношей,  
а просто игрой убеждает,  
как принято в пьесе хорошей».

Мы в шоке и смутной тревоге,  
но шепчем в свое оправданье:  
«Лишь роль человека в дороге  
актерское наше призванье,

а прочее – грубые маски  
души необъятной и русской:

куда до истории-сказки  
Европе рассудочно-узкой!

Меж Богом и миром природы  
нашли мы бездонную бездну,  
и в ней приютились – на годы,  
как в спальне с женою любезной,

а те, кто нисколько не падки  
до этого сложного чувства,  
вовек не постигнут загадки  
России и просто искусства».

Так мирно поспорив судьбою,  
как с грозным в спектакле героем,  
мы дверцу в стене за собою  
как занавес, тихо прикроем.

*Древние боги и серая мышь.* – Если вы, будучи эмигрантом и прожив две трети жизни, скажем, в Мюнхене, прогуливаясь однажды поздно вечером по городу в компании какого-нибудь вашего гостя из России, вспомнили вдруг вашу любимую отпускную страну – а ей может быть, конечно, только древняя Эллада или точнее, то, что от нее осталось – вспомнили дискретно-покровительственные улыбки гостей в отельной столовой при виде упрямо просовывающихся в плотно сжатые и тем не менее такие доступные ладони тамошних кельнеров, вспомнили жалобный вой побитой хозяином придорожной таверны собаки, вой, в котором не было ожидаемых упреков, а были только пронзительные сетования на причиненную ей несправедливость, вспомнили, как однажды выдался пасмурный день, около часа накрапывал мелкий теплый дождь, пляжи опустели, туристы разбрелись по городу и их скучающие праздные лица на каждом шагу, точно об стенку, упирались в приветливую непроницаемость лиц местных жителей, вспомнили, как ежедневно совершала свой путь вдоль моря с увесистыми корзинами пожилая статная гречанка, и в одной ее корзине были фрукты, а в другой сладкие лепешки, и женщина невозмутимо выкрикивала свой товар, не расхваливая его и не радуясь, когда находились покупатели, лишь время от времени ставя ношу на песок, посреди бледных намасленных туристов, занявших, кажется, каждый квадратный сантиметр узкой прибрежной полоски, отирая платком вспотевшее лицо, поднимая бремя свое и идя дальше.

Итак, если вы вспомнили все это и готовитесь дальше вспоминать в том же духе, да кто-то неподалеку как назло зажег сигарету, дожидаясь пока его собака, вдоволь нанюхавшись, возвратится из-за кустов, в то время как из побочной темноты грянет на вас колокольный перезвон, возвещающий полночь, и будет в этом перезвоне насильственная, непрошенная весть из потустороннего мира, но будет и акустическая мера, весть эту на лету ослабляющая и приспособливающая к нашему мирскому уровню, – итак, если в качестве маленького чуда состоятся все эти непростые и несоединимые на первый взгляд между собой условия, то – самое время сходу завернуть за угол, миновать антикварную лавку с древним оружием и грозными масками в полутемных витринах, пройти мимо игрушечной лавки, еще раз свернуть налево и – прямо упереться в греческую таверну, которая будет обязательно иметь скромный вид, а название непременно громкое, под стать гомеровскому эпосу, и конечно же с малым числом призрачно колеблющихся в желтых окнах посетителей в этот предполночный час.

Ну а если, далее, пожилой полный кельнер в жилетке и с широко расстегнутым воротом будет стоять снаружи перед дверью, заложив руки за спину и внимательно наблюдая, как под

фонарем мышь поедает хлебную корку, а его молодой и по-видимому начинающий помощник, тоже не зная чем заняться, но не осмеливаясь застыть в монументальной бездеятельности, подобно старшему коллеге, будет протирать для вида окно, если, продолжая, увидев вас, пожилой кельнер с трудом оторвется от зрелища ужинавшей мыши, молча и с достоинством проведет вас вовнутрь таверны, усадит за самый уютный, по его словам, столик в углу: как раз рядом с миниатюрным амурчиком, зажавшим в пухлых ручонках корзину с цветами, если, далее, ваш спутник, поблагодарив вас за приглашение, сейчас же углубится в изучение меню, а вы, оглядевшись, убедитесь, что это типичная греческая таверна за границей, отдающая кичем, но милая взору всякого, кто успел побывать в Греции и полюбить эту коротающую в архаической дреме какое уже по счету столетие островную колонию, и потому здесь обязательно будут, во-первых, неизменный фрегат над баром изумительной ручной работы, во-вторых, сеть под закопченным потолком, где искусно запутались разнообразные и высушенные дары моря, как-то: гигантский краб с чудовищно непропорциональными клешнями, рыба-меч, косоглазая камбала, чучело спрута, громадные раковины и прочая морская прелесть, в-третьих, любительские акварели на стенах, в-четвертых, дискретно белеющие среди пышной парниковой зелени гранитные копии великих работ древности, а в-пятых и самое главное, с потолка, из замаскированного в щупальцах медузы старенького прибора будет литься заунывная бессмертная музыка, от которой повеет нестерпимой архаической ностальгией, разрыхляющей душу и не открывающей ей выхода в действие, опять-таки в отличие от итальянских или испанских мелодий, – итак, если все эти детали будут иметь место, значит вы сделали правильный выбор и можете считать, что вечер ваш вполне удался.

И тогда самое время заказать запеченный овечий сыр, начиненные фаршированным мясом баклажаны, бараньи котлеты в виноградных листьях с помидорами, а для начала графин домашнего красного.

Когда же, наевшись и напившись, переговорив на все личные и безличные темы, вспомнив всех, кого хранит двойная память, меж вами возникнет, наконец, неловкое молчание: этот милосердный бог смерти любой встречи и любого общения, и вы украдкой посмотрите на часы, жестом закажете кофе, и почти в ту же минуту юноша-прислуга с лицом бога-Танатоса оставит на столе две чашечки с выпуклой поверх краев кремовой пенкой и две рюмки анисовой водки: традиционный подарок хозяина угодным ему гостям... подождите на минуту расплачиваться: обратите внимание, как на пепельном столбике истлевшей до фильтра сигареты запечатлелось название ее марки, – эта обостренная внимательность поможет вам осознать, почему нынешний вечер оказался одним из наилучших в вашей жизни.

Думаете, дело во встрече с вашим соотечественником? да, но только отчасти, или в хорошей еде? атмосфере? настроении? да, и в этом тоже, но все это, поверьте, не главное, – и как черт, согласно пословице, сидит в детали, так главная причина того, почему вы до окончания дней не забудете нынешний вечер, заключается во внимательном созерцании старшим кельнером поедающей корку хлеба под фонарем мыши, потому что – и это ясно ребенку – если бы ее не было, вы попросту прошли бы мимо этой таверны в поисках другой и более приличной, тем более что их в центре Мюнхена несколько, а вам, собственно, опытный в ресторанных делах приятель рекомендовал как раз ту, что кварталом дальше.

Но мышь все решила.

Кстати, когда вы встанете из-за стола и хозяин, довольный чаевыми, проводит вас до дверей и сердечно с вами простится, а вы с порога ступите во мрак и холод, притворно смягченные неоновым светом, то мышь под фонарем уже не будет, зато по-прежнему угрюмо и неуклюже, точно приклеенные, будут шелестеть на ветвях еще не сорванные ветром бурые листья, – и пусть в октябрьском полуночном мюнхенском небе немислимы древние светлые греческие боги, все-таки далекая улыбка их, так похожая на мигание бледных звезд, намекнет вам, что это, быть может, именно они послали мышь на вашем пути в тот памятный вечер.

**Экзотическая зарисовка.** – Если в отпуске, в каком-нибудь провинциальном тайландском городке, выйдя из отеля и направляясь, скажем, в магазин, вы встречаете буддийского монаха, гладко выбритого и в оранжевой робе, который прошел мимо вас и исчез за соседним домом, оставив после себя громадный знак вопроса, – ведь его успели раз десять сфотографировать два толстых и вспотевших туриста, прежде чем они принялись дальше поедать мороженое, то вы невольно задумываетесь над тем, в чем, собственно, состоит этот вопрос.

А вопрос состоит в том, что сделалась вопиюще зримой разница между ними: буддийский монах имеет право иметь только чашу для подаяний, иглу для зашивания, бритву и три робы, а сколько вещей у этих праздных туристов? поистине, несчетное количество, и все эти вещи ему, монаху, не нужны, какая бездна вкуса! просто нельзя не позавидовать, что может быть прекрасней? но, с другой стороны, и толстякам-туристам тоже не нужны его чаша, игла, бритва и робы, также и они высказали немало хорошего вкуса в оформлении собственного внешнего облика: стоит только обратить внимание, как колоритно зажаты у них в кулаках сопливые платки и как ладно оттопыриваются из карманов аккуратно завернутые в пакетики буддийские сувениры, – нет, положительно также и у них все на месте, как у того монаха.

Вы скажете, что монах бесконечно духовней толстяков-туристов? может быть, но нельзя согласиться и с тем, что все-таки эта улица, этот городок и в особенности этот мир без сопливых толстых туристов и с одними местными жителями и благородными монахами что-то потеряет: какую-то малую толику той невидимой субстанции, которая и удерживает мир в таинственном равновесии, тем более, что и сами монахи что-то потеряют, если туристы вдруг навсегда исчезнут: ведь на фоне местных жителей монахи уже не так великолепно смотрятся, как рядом с туристами, – итак, жизнь выступает за равновесие, которое, правда, постоянно нарушается, но тут же снова восстанавливается на ином и часто неожиданном уровне, так что гармонию приходится отыскивать заново, и тот, кто склонен ее видеть в мироздании, всегда ее найдет, а тот, кто в нее не верит, нигде ее не увидит.

И что самое интересное – оба будут одинаково правы, и на этом парадоксе, как на библейском ките, стоит мир.

**Это сладкое слово свобода.** – Нигде, кажется, с такой физиологической остротой не ощущается магическая природа жизненного пространства, как в общественном транспорте, пространство здесь поистине – дышит, и оно дышит вместе с нами и нашими легкими, – и как кусочек пищи, застрявший в гортани, препятствует свободному дыханию и вызывает спазматический кашель, так точно человек, слишком долго и некстати находящийся в нашем принудительном соседстве – разумеется, чужой и не слишком симпатичный человек – фатально нарушает естественное дыхание нашего жизненного пространства.

Подобный казус происходит каждодневно в общественном транспорте, причем если сидящий против нас человек дремлет, читает газету или смотрит в окно – это одно: также и тогда, впрочем, нас не покидает чувство, будто наше неприкосновенное право на свободу грубо попирается, но мы с наигранной грустью успокаиваем себя, что жизнь нужно принимать как она есть, – если же наш визави начинает еще и сверлить нас глазами или хотя бы искоса непрестанно за нами подсматривать, то наше благосклонно-созерцательное восприятие жизни грубо прерывается извне, – и нам приходится действовать.

Самым достойным ответом в такой ситуации было бы, несомненно, встретить взгляд визави и так долго его выдерживать, чтобы неучливый сосед понял свою бестактность и раз и навсегда отвел бы глаза, однако беда в том, что вуайеризм, как и зевок, заразителен, – и вот вместо того, чтобы прекратить недостойную игру, мы против воли в нее втягиваемся и разве что, стыдясь, стараемся «не попасться»: то есть стреляем взглядами так быстро и незаметно, чтобы наш визави вовсе их не почувствовал.

Поэтому когда он сойдет, мы вместе с облегчением ощутим и некоторое разочарование: вот оно-то и укажет нам истинную цену нашей так называемой свободы духа.

***Первородный грех, явленный воочию в общественном транспорте.*** – Когда к вечеру и после рабочего дня в общественном транспорте к вам подсаживается какой-нибудь небритый, неряшливо одетый, неприятно пахнущий, но все еще чрезвычайно бодрый старик, и, подобно маятнику, качнув бесцеремонно плечами сначала в сторону левого от себя соседа по сиденью, а потом в правую, то есть вашу сторону – дабы обеспечить себе побольше жизненного пространства – комментирует свой жест штампованной фразой: «Это место ведь не занято?», а вы, вместо того чтобы приветливо, пусть и не вполне непринужденно ему улыбнуться в ответ, сказав: «Нет, конечно» и дальше с готовностью потесниться, чтобы подарить ему хотя бы тот абсолютный минимум общечеловеческой любви, который вы вообще в состоянии дать, который вас несколько не обременит и о даре которого вы сами наверняка не однажды мечтали, под влиянием ли классиков, религии или просто задумываясь о своей душе, – итак, когда вы вместо этого простейшего жеста, который был бы, быть может, единственным нравственным оправданием всего вашего нынешнего прожитого дня, демонстративно отодвигаетесь от этого злополучного старика, так что при этом тесните сидящего справа от вас соседа и, не переставая видеть странно досаждающий вас старческий профиль боковым зрением, смотрите все-таки упорно и надменно в противоположную сторону, – и никогда, никогда, никогда не повернете вы уже к нему лица своего – ни в сем веке, ни в будущем! – да, в эту судьбоносную минуту как раз и следует вспомнить библейскую истину о первородном грехе: с той лишь существенной поправкой, что тот тяжкий и несмыаемый первородный грех висит только на вас одних, только для вас одних он имеет кармическое значение и только вы одни его должны будете отрабатывать всю вашу жизнь и быть может последующие, тогда как небритого старика он ни в коей мере не касается, он ему не подвержен, он просто не о нем, – а доказательством тому является тот очевидный и замеченный всеми факт, что вы все время непрерывно, незаметно и пристально наблюдали за стариком, а когда он вышел, метнули ему в спину прощальный пронзительный взгляд, тогда как он вовсе не обращал на вас внимания, – и вот это ваше полное несуществование в его глазах освобождает его как от ответственности быть хотя бы элементарно вежливым по отношению к вам в общественном транспорте, так и тем более от общечеловеческой любви к вам.

Вы, таким образом, сами того не желая и на собственном примере отдельно взятого человеческого субъекта доказали существование первородного греха, но пойдет ли это вам на пользу или во вред, вы узнаете только тогда, когда... вот именно, когда уже будет поздно.

***Фантазия о зеркале или что можно взять с собой.*** – Когда задний фон стекла совершенно темный и непроницаемый, мы видим в зеркале отражение своих самых чувственных и соответственно преходящих черточек: от разного рода прыщиков, волосинок и морщинок до черт лица, которые по причине физиологической отчетливости тоже наиболее подвержены законам времени, – зато на полупрозрачном фоне, каковы обычно полутемные стекла, играющие роль зеркал, мы замечаем уже и свой рост, и манеру стоять и двигаться, и собственный профиль, и даже угадываем существенное выражение лица, то есть то физиогномически главное в нас, на чем выстраиваются черты нашего характера и наши человеческие отношения, а вот они-то уже почти ничем не отличаются от платоновских идей: нам упорно продолжает казаться, что если что-то в нас и способно пройти сквозь игольное ушко смерти, то это наши психические конфигурации, отделенные от наших же конкретных физических признаков, то есть наша образная сущность, – впрочем, в виде исключения, бывает и так, что человек, минуя фильтрацию несущественного в себе, как бы всей массой своего физического облика, включая и одежду и прочий аксессуар, не то что ломится в потустороннюю действительность – туда

наскоком не проникнешь – но непонятным образом готов в нее в любой момент нечаянно провалиться, точно раствориться в волшебном зеркале.

Такое ощущение возникает, например, когда в вагон метро входит старая сгорбленная женщина в полуплаще из искусственной крокодиловой кожи с воротником и рукавами из светлого меха, тоже искусственного, в приличных брюках и полулакированных туфлях: она тащит перед собой тележку с зонтом, кока-колой, свежей бульварной газетой и рекламами, на лице ее солнцезащитные очки, а крупный сгорбленный нос, все еще густые темные брови (так несозвучные с седыми буклями волос), крутая складка у рта и особенно усики над верхней губой делают ее похожей отчасти на мужчину, – что-то серьезное и насмешливое, не жестокое и безжалостное, вежливо-приветливое и глубоко отчужденное и отчуждающее одновременно сквозит во всем ее облике, вызывая тоже противоречивые и внутренне несовместимые чувства: тут и безотчетное уважение к необычной пассажирке, и почти порочное любопытство узнать о ней побольше, чем позволяют даже законы приличия, и категорически-брезгливая невозможность сблизиться с нею при соответствующих обстоятельствах, главное же, здесь читается, как предостерегающий дорожный знак для водителя, указание на то, что мы имеем дело с представителем, быть может, самой загадочной, но и самой проблематической нации в мире, причем загадочность эта сугубо темная и непроницаемая по своей природе, в отличие, например от светлой и прозрачной загадочности древних эллинов или индусов, – однако по части зеркальной магии они все приблизительно равны.

## О пользе физиогномики

*1. (Горький опыт самопознания).* – Посреди шумной европейской привокзальной улицы, в турецкой забегаловке, за стойкой, упершись взглядом в зеркало с виньетками и поедая кебаб, иной раз вдруг удивленно замираешь: ведь так много можно было бы рассказать о субъекте напротив! но удерживает элементарное чувство порядочности, – в сущности, это производит несколько комическое впечатление, хотя и является, быть может, тем последним, отчаянным и так и не вырвавшимся из глотки криком, который свидетельствует о полнейшей безысходности нашей ситуации.

С другой стороны, когда мы особенно внимательно рассматриваем себя в зеркале, нам подчас настолько неприятны иные черточки в себе и в то же время, в силу последнего интуитивного знания о себе, эти черточки кажутся нам настолько естественными и неотделимыми от себя, что мы ими почти против воли вынуждены любоваться, – отсюда проистекает то неизбежное приятное оупение, каким обычно сопровождается задержка на собственном отражении в зеркале, и оно же, увы! является основной музыкальной тональностью любой автобиографии.

Вот почему, зная о существовании законов физиогномики, четко определяющих зависимость характера от черт лица, зная, что опытный психолог, мельком взглянув на ваше лицо, как по карте определит вашу сущность, сколько бы вы ни старались мимикой скрыть ее, зная, далее, что и вам самим изменить ваш характер так же мало возможно, как поменять черты лица, – итак, зная все это, вы будете пожизненно обречены чувствовать некоторую благодарность от всякого случайного взгляда любого случайного человека, который внимательно посмотрит на вас и – не заметит почему-то того очевидного изъяна в вашем характере, который, как прыщ на носу, написан на физиогномической карте вашего лица: и более того, чем меньше окружающие склонны или способны проверять незыблемые законы физиогномики на вашем печальном примере, тем большей вы к ним проникаетесь симпатией, хотите вы того или не хотите, и тем скорее они становятся вашими близкими, друзьями и знакомыми, – этот странный закон напоминает темное солнце в сердцевине нашего мироздания, лучи которого столь же милосердны, сколь небожественны в своей сути.

**II. (Директор издательства).** – Обнаружив какую-либо неприятную черточку в лице того или иного человека, мы склонны как можно скорее отыскать ее аналог в характере – чтобы восстановилась искомая гармония между физиогномией и психологией, а тем самым мир в наших глазах сделался хоть чуточку более прозрачным и постижимым – и не было случая, чтобы сие благородное начинание нам не удалось: я припоминаю в этой связи директора самого антисоветского без преувеличений печатного органа, что со времен окончания Второй Мировой осел во Франкфурте-на-Майне, – мы туда случайно попали сразу после выезда: искали работу, моей первой жене предложили место машинистки, для меня ничего там не светило, и была, конечно, альтернатива начать новую жизнь у немцев и с немцами (соответственно с курсами обучения немецкому, курсами обучения новой профессии или повышения квалификации, лучшей зарплатой и прочими социальными благами), но тот директор, в общем-то симпатичный человек, хотя иногда напоминавший оскалом лица затравленного хорька, настаивал на том, что для человека русского, хотя и покинувшего русскую землю, единственным подлинным смыслом существования за границей может быть только служение «общему русскому делу», тогда как жизнь посреди немцев неизбежно сделает его бессмысленной атомарной единицей, то есть он в ней попросту бесследно растворится как кусок сахара в реке – и он в этом был безусловно прав! – беда лишь в том, что, как впоследствии выяснилось, дети этого человека, как, впрочем, и дети всех без исключения патронов антисоветского движения в Европе получили прекрасное образование и шли по «немецкой линии», никто из них грязным делом борьбы с «преступным режимом» не занимался, а на эту работу (кстати, плохо оплачиваемую, ожидалось еще и добровольные вычеты от зарплаты на «общее дело») предназначались эмигранты так называемой Третьей волны, вроде нас, – вот и говори после этого, что между лицом и характером нет никакой связи!

**Самая чистая и бескорыстная радость.** – Испытав радость выздоровления, радость влюбленности и любви, радость моря и леса, радость открытия новой книги, нового человека, новой земли и так далее и тому подобное, то есть испытав, кажется, все возможные в жизни радости – хотя бы в той или иной степени – приходишь к давно известному (по меньшей мере после Будды) выводу, что все они (радости) не вечны и не абсолютны, но слишком зависят от объекта, и если убрать или переиначить объект, то любая радость очень легко и с каким-то даже садистским удовольствием превращается в свою противоположность: неудовольствие и страдание.

Да, это так, но есть ли вполне чистая и бескорыстная радость, не зависящая от причины или объекта, вот в чем вопрос? на первый взгляд, ею может быть только радость от бытия как такового: в самом деле, просто быть без того чтобы чем-нибудь заниматься, что-нибудь думать, чувствовать или осознавать, к чему-либо стремиться и о чем-либо жалеть, – разве это не радость, лишенная своей противоположности? вполне возможно, здесь философская петля закинута так далеко и так широко, что в нее попался весь космос, – но пробовали ли вы, любезный читатель, хотя бы полчаса ничем не заниматься, ни о чем не думать, ничего не чувствовать и не осознавать, ни к чему не стремиться и ни о чем не жалеть? а если пробовали, то наверняка согласитесь со мной, что в таком сублильном состоянии немало и сублильного страдания, с которым еще нужно работать и работать.

Зато если в один прекрасный вечер случайно забрести во время прогулки на центральный железнодорожный вокзал и с перрона увидеть в окне отъезжающего поезда какого-нибудь давнего знакомого, окликнуть его, заметить, как и он обернется, взволнованно взметнет бровями, захочет что-то сказать, но уж локомотив унесет его на неприличное для разговора расстояние.

Да, именно в этот момент вы и ощутите быть может в первый и в последний раз в жизни ту самую искомую чистую и бескорыстную радость, потому что – осознаете вы чуть позже – если бы поезд вдруг остановился и оклик превратился в длительную беседу, ваше общение, конечно,

обрело бы полноценный характер, но не было бы уже той чистой и бескорыстной радости в голосе и особенно во взгляде, самое же главное, если бы эта встреча вовсе не состоялась, ваша радость от прогулки ничуть от этого не уменьшилась бы, а значит она (радость) не зависела от причины и объекта, то есть была поистине абсолютной.

Что и требовалось доказать.

*Дороги, которые мы выбираем.* – Когда в толпе мы вдруг исподволь встречаем взгляд другого и незнакомого нам человека, то еще задолго до возникновения какого-либо психологического контакта – по времени же эта фаза длится долю секунды – мы чувствуем сквозящую сквозь этот взгляд первозданную и совершенно непостижимую для нас чужеродность бытия: она пронизывает нас как-то сразу и насквозь, так что даже ночное мироздание с его мерцающими звездами, быть может, давно умершими и лучше всего, кажется, доносящее до нас бесконечность мира, превосходя тот взгляд в монументальности воздействия, уступает ему, однако, в завуалированной пронзительности выражения.

Ибо ночное небо все-таки объект, а значит неизбежно подчиняется оформлению нашей субъектности, и какой бы страшный образ мы из него ни слепили энергиями чувств, мыслей и воли, это все-таки наш собственный и производный от нас образ, тогда как пристальный взгляд на нас чужого и постороннего человека, сколь бы безобиден он ни был, означает вторжение в наше жизненное пространство субъекта, то есть живого существа, которое одним своим существованием делает наше бытие и наше мировоззрение куда более условным и относительным, чем это удалось ответившему нам немым взором необозримому полуночному универсуму.

И вот эта субъектная чужеродность любого нашего визави настолько элементарна и вместе настолько действенна, что в ней, как в зеркале, мы читаем и наше онтологическое с ним равенство, и наше кровное с ним одиночество, и наше сходное с ним право на счастье, и нашу родственную с ним обреченность на страдания и смерть, – да, чужой взгляд в толпе показывает нам, точно в магическом кристалле, наше собственное положение в этом мире и нашу судьбу в нем, а кроме того, в качестве бесплатного приложения, взгляд этот ненавязчиво подсказывает нам, что если бы Всевышний соизволил взглянуть на нас, Он бы это сделал как в современной сказке, – приняв образ не нищего, а какого-нибудь случайного в толпе человека или, нотой выше, Всевышний посмотрел бы на нас точно так, как мы сами ответили на взгляд того человека из толпы.

То есть если ответили с любовью – то и сами получили свыше любовь, скажем, в виде постоянных жизненных удач, а если ответили с раздражением и неприязнью – вот вам и тайная причина наших неурядиц и несчастий; как бы то ни было, в чужом взгляде мы фиксируем сначала бездноподобное отчуждение нам по всем параметрам, и это отчуждение мы можем легко расширить и углубить – ответным холодным и безразличным взглядом, но можем и сузить и даже упразднить – идущей изнутри теплотой наших глаз, теплотой, которая демонстративно не обращает внимание на настроение и внешние обстоятельства: ведь в согласии с неумолимым законом симпатии-антипатии этот застрявший надолго в поле нашего зрения субъект с нескромным взглядом может показаться нам настолько отталкивающим, что простое допущение необходимости с ним долго и интенсивно контактировать вызывает в нас то самое непреодолимое и сартровское: «Ад – это другие».

И кто знает, быть может, идя целенаправленно по этому пути и никогда с него не сворачивая, мы и на самом деле попадем в Ад, тогда как, сумев преодолеть себя и ответив несимпатичному субъекту любящей добротой во взгляде, мы отправимся в противоположном направлении, то есть, даже страшно сказать, в Рай, – ну а если, как это обычно бывает в жизни, ограничиться среднестатистическим вежливым любопытством и закрыть доступы в себе как наверх, к Богу, так и вниз, в Аид, то, по всей видимости, нам навсегда придется оставаться в Чистилище земного бытия, или, как говорят буддисты, в круговороте вечного перерождения.

Что мы, собственно, и делаем.

*Уличное представление.* – Только вкусив неотразимое очарование толпы на центральных улицах европейских городов, только обратив внимание, что любой прохожий здесь настолько чертовски интересен, что от него невозможно оторвать взгляд: по крайней мере пока он не исчезнет из нашего поля зрения, и это несмотря на то, что при полнейшей нашей минутной в нем заинтересованности нам совершенно безразлична по сути его биография – таково даже главное условие внимательно-бескорыстного созерцания людей на улице – и только осознав, что в этой глубочайшей и неустранимой фрагментарности человеческих судеб, более того, в самой принципиальной незаконченности любого куска жизни, откуда бы его ни отхватить, заключается не только первичная характеристика бытия, но и его жанрово-эпическая подоснова, – только тогда исчезает раз и навсегда вкус к театру как таковому, исчезает физическая возможность присутствовать в набитом зале, исчезает способность даже в талантливой актерской игре признавать великое искусство, исчезает готовность видеть интересную и живую интригу на месте всего лишь намертво выдуманного сюжета, – да, после урока, преподанного уличной непосредственностью, пропадает вкус ко всему условному, и только одно кажется странным и непонятным: как он мог он (вкус) так долго держаться.

Действительно, когда наблюдаешь за людьми на улицах европейских городов, кажется, что они, непроизвольно подчиняясь какому-то выше них стоящему природному игровому инстинкту, на короткое время – словно только для того чтобы пройти перед зрителями в новом лице – перевоплощаются в каких-то немного других персонажей: по крайней мере непосредственное восприятие от них таково, что в семье они несколько иные, нежели на улице, а на работе и вовсе не похожи ни на тех, ни на других, – но мы заранее и от души верим в их малые житейские перевоплощения, а если верим, значит признаем в них некоторое крошечное, но истинное лицедейское искусство, причем чем шире шпагат между ролью и тем, кто ее играет, тем талантливей актер, когда же нам, в виде исключения, вовсе не удалось распознать в герое знакомого актера – а такое часто бывает в лучшем кино и такое нередко происходит на обыкновенных европейских улицах – тогда мы имеем дело с апогеем актерского мастерства.

А вот на российских и даже столичных проспектах несколько другая игра: там люди видят друг друга насквозь – точно смотрят сквозь стекло, вместо того, чтобы наблюдать за собой в зеркалах, то есть в тех же стеклах, но с темной непрозрачной основой, – последние не позволяют по природе своей всмотреться в них до дна и подарить человеку дурную и неоправданную иллюзию, будто он все до конца в своем ближнем понял, вот почему зеркала создают некоторую естественную и непредвзятую атмосферу скромной тайны и повседневного волшебства, тогда как стекла служат, как правило, лишь трезвым и практическим целям, – да, когда смотришь в зеркало, то даже сам себе немного удивляешься, и это хорошо, человек обязательно должен себе немного удивляться, иначе он будет походить на неодушевленную вещь: в зеркале, между прочим, вообще нет неодушевленных вещей, там мир замкнут на себя, самодовлеющ и уникален и плюс к тому еще отражен – его не пощупаешь, и вот он уже по одной этой причине начинает магически притягивать, как недостижимый идеал, а через стекло мир только растекается, как вода сквозь пальцы, создавая ощущение неустранимой, фатальной реальности, в которой столько скуки, предсказуемости, морального шаблона, дурной повторяемости и поразительного однообразия, что она скорее напоминает сон, нежели живую жизнь.

И как в кино постоянно присутствует иллюзия, что все обошлось без искусства: мы не видим ни режиссера, ни сценариста, ни актеров между сценами, ни статистов, ни всех тех, кто обступили с камерами, прожекторами и тысячами вспомогательных приборов ту сцену, которую мы в данный момент наблюдаем, и мы не можем никак вмешаться в игровое действие, тогда как в театре все-таки можно незаметно подмигнуть актеру, и только сообразно этой иллюзии и в пропорциональной от нее зависимости рождается драгоценное и по сути

центральное ощущение великого удивления от искусства, так в театре это последнее начисто отсутствует и не может не отсутствовать, а само великое – потому что метафизическое – удивление деградирует до уровня всего лишь чувственного смакования от мастерской игры: итак, рассуждая в гиперболах, театр – как наша сиюминутная жизнь, в которой еще что-то можно поправить, кино – как наша же прожитая жизнь, в которой поправить ничего уже нельзя: тут и размах, и необратимость каждого шага, и вытекающие отсюда серьезность и величие, и судьбоносность, но, как сказано, и некоторый шок, по причине опять-таки непроходимой дистанции между зрителем и актером.

Вообще же, когда в любом постороннем человеке нутром ощущаешь пусть даже малый и незначительный, но самостоятельный и ни к чему не сводимый мир, концы которого, как любил говаривать наш незабвенный Федор Михайлович, сходятся в «мирах иных», тогда и себя самого посреди этого мира воспринимаешь как крошечную звезду в бесчисленном сонме больших и малых мирозданий, и потрясает тогда душу самый великий из всех доступных нам просторов: простор звездного неба, – так вот, крохотное, но истинное его подобие переживаешь иногда на улицах европейских городов, – не потому ли мы сюда приехали? и как иначе объяснить пророчество того же Достоевского о том, что Европа нам, русским, быть может, внутренне ближе и дороже, чем самим европейцам? подобно потерпевшим кораблекрушение морякам, вынужденным сутками пить морскую воду, от которой они сходят с ума и гибнут, мы тоже давно обезумели от недостатка подлинного живого духовного простора и необходимости пить вместо его нектара мертвую воду пустого и давящего на душу бескрайнего пространства, еще раз! не признавая метафизической (то есть попросту не до конца проницаемой) личности в собрате, мы добровольно лишаем себя дополнительных и важных экзистенциальных измерений, на отсутствие которых потом жалуемся и для восполнения которых едем за границу.

Вот почему русский человек производит глубоко театральное впечатление, в противоположность человеку западному, сходному с образом кино, – нет, каково закручено, а?

### **Когда между людьми пробегает черная кошка**

*I. – (Нежданная встреча).* – Всякий раз, когда человек уверяется, что его общение с тем или иным ближним – или дальним, неважно – наткнулось на непреодолимые границы – подобно тому, как гоголевская панночка не могла перешагнуть через обведенный Хомой магический круг – и вот уже сделаны сотни попыток перейти черту: то есть нащупать хоть какую-то мелочь, которая бы связала заново обнаруживших вдруг между собой непроходимую бездну людей, но все эти попытки закончились неудачей и дальнейшими разочарованиями, – итак, всякий раз, когда человек, остановившийся перед вышеописанной роковой чертой, ставит крест на надломившемся отношении, решив для себя, что никогда уже в нем не будет музыки, а если не будет музыки, то и ничего не будет, – да, всякий раз тогда именно и входит в мир царица-Смерть.

Когда же человек в сложившейся ситуации несмотря ни на что продолжает и дальше искать контакт, продолжает работать над собой, верно предположив, что вина на испорченном приятельстве лежит в равной мере и на нем самом, продолжает верить, что рано или поздно его попытки хотя бы минимального сближения увенчаются успехом, – тогда уже входит в мир другая великая миропомазанная сестра: царица-Жизнь.

А еще в жизни нередко бывает так, что вот годами общаешься с какими-то хорошими людьми, и нет между вами вроде бы ни ссор, ни обид, ни даже досадных недоразумений, и они, эти люди, тоже, конечно, считают вас добрыми приятелями, и все идет «как по маслу», и все-таки вы примечаете, что после каждого общения с ними вы как-то странно разочарованы и опустошены, и вы не можете понять, от вас ли это зависит или от них, и так или иначе в душе остается какой-то едва уловимый привкус, как после неудобоваримой еды, и со временем

его становится все ощутимей, а вы на глазах уподобляетесь еще и тому снобистскому знатоку музыки, который возомнил, будто в камерном концерте (вашего узкого общения) некий музыкальный диссонанс постоянно оскорбляет его утонченный слух и залегает вечной занозой в душу, – короче говоря, все не то или, точнее, не совсем то.

И тогда рано или поздно наступает разрыв: тихий, потому что никто никого не оскорбил и не обидел, и в тоже время резкий и окончательный, потому что вы твердо решили раз и навсегда избавиться от свербящей в душе занозы.

Но если однажды, спустя долгие годы, во время прогулки, в какой-нибудь отдаленной парковой аллее на другом конце города, куда вы и заходите, быть может, раз в год, вы наткнетесь вдруг на этих людей, и они в первый момент инстинктивно попытаются сделать вид, что вас не заметили – ведь это вы были инициатором разрыва, вы их оттолкнули, вы не искали с ними примирения – а вы как ни в чем ни бывало тепло и от души разговоритесь с ними, поскольку эта встреча вас нисколько не отягощает, она коротка и никаких последствий иметь не может, – так вот, знайте заранее, что после нее вы поневоле будете ждать их телефонного звонка (формального, как мол у вас дела?) или хотя бы думать о нем, и это до окончания дней ваших, – и тихая и упрямая радость от того, что звонок этот так и не последовал, будет отравляться трезвым и ясным сознанием того, что вы, может быть, поступили и правильно, закончив отношение, но все равно не лучшим образом (а как поступить лучшим образом, вы так и не узнаете), и вот это итоговое ваше сознание тоже будет подобно занозе, и неизвестно еще, какая заноза глубже засядет в вашу душу и больнее будет там свербеть: прежняя и давняя от общения или заново и после неожиданной встречи в парке осознанная от прекращения общения.

**II. (Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем).** – Когда люди расходятся по причине «непонятно каким образом слетевшего с губ обидного слова», то расхождение, явившееся неизбежным последствием необратимого воздействия словом – при подобных инцидентах даже запоздалое извинение может только сократить дистанцию, но не вовсе упразднить ее – будучи на первый взгляд досадным и случайным, на самом деле является вполне закономерным, если не «дождавшимся своей очереди», потому что некоторое охлаждение между людьми – как правило, вследствие слишком большой взаимной разности – давным-давно созрело и ждало только случая, чтобы войти, наконец, в открытую дверь, – и вот что интересно: участники инцидента могли бы своевременно и по доброй воле сделать то, что требует от них ход вещей (в данном случае конфигурация их характеров), то есть заранее и без слов немного отдалиться друг от друга, но нет! именно жизнь и она одна должна расставить все точки над *i*, и она это делает, работая в «двойном ключе»: стихии и случая (вот чего не может человек), а это и есть самый убедительный метод работы, – так что в итоге, сетуя на себя за слово, которое «как воробей – вылетело и его уже не поймаешь», люди втайне об этом вылетевшем не столько из уст, сколько из души обидном воробье нисколько не жалеют.

**III. (Критическая точка).** – Говорят, что в бронированном стекле есть некая критическая точка, от малейшего прикосновения к которой стекло разбивается, и точно такая же точка существует якобы в человеческом организме: касание ее вызывает мгновенную смерть, – но сходным образом и в отношениях между людьми случаются происшествия настолько незначительные – ненароком сказанное слово, мимолетный жест или произвольный поступок – что их даже трудно заметить, – и тем не менее они приводят к разрыву: разумеется, в них нельзя видеть причину расхождения, они были всего лишь зримой пантомимой все той же загадочной пьесы под названием «Тайная несовместимость людей как одна из главных особенностей человеческой природы», причем, как правило, чем тише и незаметней оказалось последнее перед опусканием занавеса действие, тем обычно болезненней, глубже и бесповоротней расторжение быллой дружбы или доброго приятельства, – если же вообще ничего не было: ни слова, ни жеста,

ни поступка, – вот тогда расхождение между людьми самое окончательное и необратимое, то есть наиболее страшное и непонятное.

В чем его причина? думается, в конечном счете в некоей предустановленной дистанции, которая почти на уровне космического закона запрещает данным людям сближаться дальше положенного уровня, и это действует наподобие невидимой занозы, засевшей в сердце: ведь речь идет о принципиальном ограничении начала Любви, в коем мы привыкли видеть источник всего лучшего и Высшего, – действительно, обращает на себя внимание, что практически все самые великие люди в любой сфере деятельности, не исключая религии (за редкими исключениями типа трогательной дружбы Гете и Шиллера) как будто изначально связаны описанной выше изначальной и глубинной взаимной несовместимостью: вот они-то уж поистине не сказали друг другу ни единого слова и тем не менее настоящие, искренние, сердечные отношения между ними абсолютно невозможны.

И вот эта бросающаяся в глаза психологическая особенность общения между «корифеями духа» вносит в музыкальную палитру бытия острую щемящую «гамлетовскую» ноту, и нота эта созвучна и Первозрыву как гипотетической причине возникновения Вселенной, и его величеству Случаю как возможному источнику жизни на земле, и квантовой природе света и времени, постулирующей метафизический «провал» на клеточном уровне мироздания, и лицемерию звездной полночи, внушающей пиетический ужас, и иным невообразимым преступлениям людей, и разного рода тревожным и необъяснимым событиям и, наконец, образу самой Смерти, о которой мы ничего не знаем и насчет которой можем лишь гадать и догадываться... короче говоря, все это скорее подтверждает, чем опровергает, существование «критической точки» на всех, в том числе и на самых высоких уровнях бытия.

**IV. (Чудовища).** – Между людьми – причем, как правило, довольно близкими – иногда проскальзывает в словах, но еще чаще между слов и как бы в мыслях, и даже не в мыслях, а между самими порами душевными нечто невообразимо безобразное: нечто такое, что они даже в себе не подозревали (литературный образчик такого безобразия мы находим в страшной догадке Разумихина насчет своего друга Раскольникова), нечто похожее на отвратительную, шипящую, зловонную и ядовитую змею (головой слегка напоминающую отвратительные искажения лица, если взглянуть на себя в этот момент в зеркало), – и только то обстоятельство, что эта змея никогда не выползает наружу, когда люди остаются наедине с собой, но всегда во время общения с тем или иным человеком, – лишь это счастливое обстоятельство спасает людей до поры до времени от чудовищного подозрения, что подобная омерзительная змея живет в самой сердцевине их собственного существа.

Но быть может здесь-то как раз и залегают гносеологические – или онтологические? или те и другие вместе? – корни разного рода безобразных фантастических существ: от кобольдов до драконов, тех самых, без которых невозможен жанр сказки, и существование которых в астральной действительности как будто уже не подвергается сомнению, – во всяком случае присутствие таких чудовищ в межчеловеческом общении очевидно, что же до их конкретного образа, то он вполне может быть предоставлен фантазии: в конце концов ничто поистине важное не является в том или ином законченном облике, напротив, некоторое множество образных вариантов, иной раз даже взаимно противоречивых, гораздо точнее описывает глубинную, то есть и повседневную, и метафизическую одновременно действительность.

**V. (Что значит испить чашу до дна).** – Чтобы вполне понять ближнего своего, а заодно и себя самого, достаточно представить себя стоящим перед неустранимым выбором: либо заболеть неизлечимой формой рака, причем сию минуту, либо принять облик того самого ближнего: совершенно чужого, непонятного и по большому счету несимпатичного нам человека, – и как прежде, до рокового выбора, присматриваясь к нему (тому человеку) поневоле где-нибудь

в городском транспорте, мы мысленно и от нечего делать воображали себе его характер (с нашей точки зрения особенно далекий от совершенства), рисовали в душе его родных и близких (которых мы не подпустили бы к себе на пушечный выстрел), задумывались празднично и о месте его рождения (нас там не было, нет, не будет и не может быть), и о его профессии (конечно же, полная противоположность нашей), и вообще обо всем, что его так или иначе касается (но совершенно не касается нас), – так теперь, когда нам срочно нужно принять судьбоносное решение, мы точно так же и даже гораздо пристальней присматриваемся и к далекому от совершенства характеру (но он нам уже представляется достойным понимания и сочувствия), и к якобы чужеродным нам родным и близким (а ведь сойтись с ними не так уж и невозможно!), и к обстоятельствам рождения, профессии и прочим деталям (а почему бы не попробовать себя в новой жизни?).

Короче говоря, мы перед лицом смертельного приговора оказываемся в этом чрезвычайно деликатном вопросе гораздо сговорчивей, и не то что бы мы уже согласились изменить себе, но живущая в нас неистребимая вера в помилование в самый последний момент как бы оттягивает окончательное решение в измене, и вместе с тем безошибочное предчувствие, что по-доброму все не кончится, заставляет нас тщательней и интенсивней вживаться в облик того, кто может сделаться нашим двойником: этот раздвоенный в себе и противоречивый процесс, по отношению к этой жизни выглядящий как хоррор, вполне реален относительно жизни последующей: как бы то ни было, нельзя в точности сказать, к чему он приведет, можно только предположить, что какой бы выбор мы ни сделали, мы о нем пожалеем.

**VI. (Музыка как нравственный императив).** – Обращает на себя внимание, что истинная добродетель и нравственная красота настолько скромны, тонки и неуловимы, что их почти невозможно не только классифицировать, но иногда даже просто выразить в словах, тогда как, наоборот, зло и преступление наличествуют зримо и выпукло, недаром люди испокон веков воспринимают все высокие проявления души скорее в поэтическом аспекте, отрицательным же проявлениям человеческой природы давным-давно поставлен памятник в виде бессмертного Уголовного кодекса, – это происходит потому, что высокие и лучшие качества человеческой души в конце концов впадают в светоносное безмолвие, как реки в море, ведь уже у Данте Ад скульптурен, Чистилище живописно, а Рай музыкален, из чего прямо вытекает, что и отношения между людьми зиждутся на законах музыкальной гармонии, тогда как любое преступление, любое зло и даже любой безобидный, но мерзкий поступок, являясь отклонением в разной степени от этой изначальной и космической гармонии, предельно вещественен: он имеет некоторую несовершенную форму, некоторую несовершенную плотность и некоторый несовершенный запах.

С другой стороны, отрицательные черты людей в нашем сознании присутствуют всегда наравне с положительными и никогда сами по себе, отдельно от них: поэтому когда какие-то слишком негативные качества знакомых нам людей становятся для нас невыносимы и мы вынуждены отдалиться от такого человека, его положительные черты – которые мы так ценили когда-то – тоже незаметно исчезают и даже умирают в наших глазах, а если мы их и перевозносим, то именно как мертвецов, о которых принято говорить одно только хорошее, и это совершенно нормальный и естественный процесс, то есть вместо культивирования одних качеств и ненависти к другим происходит постепенное отчуждение от тех и других вместе, – попробуйте в художественном персонаже мысленно убрать одни качества и оставить другие: он тотчас разрушится.

Ведь даже природа как будто нарочно сделала так, чтобы все вокруг нас нам было одновременно и немного близко и немного чуждо, и в первую очередь наши дети, казалось бы, самые близкие нам существа, по причине принадлежности их новому поколению живут на совершенно иных волнах, нежели мы, а это значит, что музыкального созвучия, этой волно-

вой первоосновы бытия, нам в отношении с нашими детьми очень часто и очень остро не хватает, так что чужие люди кажутся нам подчас внутренне ближе наших детей, – а идя дальше, кто не обращал внимание, что домашние животные и даже, бывает, неодушевленные вещи кажутся нам ближе иных людей: что же говорить тогда об ангелах и богах? итак, все в мире как будто подчинено магической перспективе живописи Леонардо да Винчи, когда бесконечно близкое начинает озвучивать бесконечно далекое, так что и Лейбниц, провозгласивший наш мир «лучшим из миров», и Шопенгауэр, категорически настаивавший, на том, «что будь этот мир чуточку хуже, он просто не мог бы существовать», одинаково правы.

Но если все в мире взаимосвязано, как утверждают философия и физика, то и связь людей с самыми дальними и запредельными мирами, такими, как Бог и дьявол, не подлежит сомнению, и связь эта может быть исключительно музыкального и отчасти фантастического порядка, хотя и Бог и дьявол, по слову Достоевского, живут не далее, как в сердцах человеческих, – однако отсюда прямо вытекает, что не простенькая мораль о «любви и братстве всех людей» является сердцевиной подлинной нравственности, а тот в высшей мере сложный и непредсказуемый «клубок отношений» между людьми, выразить и запечатлеть который могут только художники.

И тем не менее, несмотря на эту очевидную и всеми интуитивно признаваемую истину, мы все-таки по какой-то странной иронии судьбы пожизненно обречены искать, а стало быть и находить нравственный императив не где-то очень далеко и в запредельных мирах, а совсем близко и в окружающем мире, и он (императив) всегда в значительной мере по субстанции своей легок, тих, неуловим и обязательно музыкален, – но такова именно идея «любви и братства между людьми», которая нам так действует на нервы, над которой мы так смеемся и к которой мы все-таки тянемся всей душой.

**VII. (Пепел Клааса).** – К сожалению, на каждом шагу приходится наблюдать тот феномен, что самые лучшие наши чувства – и в первую очередь чувство любви, да, именно искренней и бескорыстной любви как единственной психической энергии, способной разрушить скорлупу эгоистического обособления – по отношению к нашим близким и родным оказываются не то что полностью невозможным, но как бы воплотимыми лишь в малой доли: в том смысле, что любая и уже не однажды испробованная житейская ситуация, в которой любовь должна была бы выразиться, что называется, по максимуму, на самом деле только приводит к разочарованиям, и разочарования эти тем неожиданней, глубже и горче, чем настойчивей обе стороны пытаются задействовать самое лучшее в себе – а это действительно любовь, и голос сердца нас не обманывает.

И вот поневоле образуется некий неиспользованный и по сути неиспользуемый резервуар тонкой энергии, который накапливается в нас и как бы непрестанно постукивает в наши сердца, подобно пеплу Клааса, но ответа не находит: двери посторонней души для нашей любви и двери нашей души для любви со стороны по каким-то непонятным роковым причинам остаются закрытыми и все ограничивается ощущением смутной тоски и скорби, как при восприятии какого-нибудь произведения искусства – Моцарт! – когда благородные наши чувства пробуждены, но выхода не находят.

В такие особенно запоминающиеся минуты хочется думать и верить, что описанные выше психические энергии не исчезают из мира, но растворяются в небе, точно бунинское «легкое дыхание», и какая-нибудь особенно восприимчивая поэтическая натура способна выловить их из космоса и заново использовать: уже в творчески-преобразовательных целях, – в самом деле, разве не присутствует в нас тайное убеждение, что все самое лучшее в искусстве напитано именно этими самыми и никакими другими выше описанными энергиями?

**Загадка врожденной антипатии.** – Как часто приходится обращать внимание: коллеги на большом предприятии, ни разу между собой не общавшиеся, но прекрасно знающие о взаимном существовании, зачастую склонны, сталкиваясь в коридорах или на лестницах, под благовидным предлогом не здороваться и даже отводить глаза в сторону, но те же самые коллеги, встречаясь в городе, уже сердечно и внимательно приветствуют друг друга, – случись же им повстречаться за границей, они и вовсе вошли бы в короткое общение: так что, нужно полагать, сведи их судьба на необитаемом острове или в ином мире, они, пожалуй, стали бы даже добрыми приятелями.

Однако здесь не следует обольщаться: то обстоятельство, что эти люди интуитивно старались избегать друг друга, насколько позволяли законы приличия, скорее всего намекает на невозможность сближения между ними по-настоящему никогда и ни при каких обстоятельствах, да они и сами в глубине души об этом догадываются, и потому стараются сводить общение к минимуму, то есть там, где можно, продолжают заблаговременно избегать друг друга и не встречаться даже взглядами.

Тем самым, дабы устранить следствие, они подрубают на корню его причину, ибо, раз внимательно взглянув друг в друга, можно ненароком проникнуть в чужую душу, а через нее и в свою собственную, – в данном случае некоторая взаимная врожденная антипатия или, выражаясь мягче, психологическая несовместимость, может сказать нам о себе больше, чем мы хотели бы знать: итак, лучше не шутить с огнем, потому что нередко в жизни случается так, что один человек, единожды взглянув на другого, начинает испытывать по отношению к нему необъяснимую антипатию, доходящую до одиозной ненависти.

В чем здесь причина? я думаю – в том, что человек не просто предчувствует, но точно знает, что при определенных, а иногда даже и при любых обстоятельствах у него с тем антипатичным человеком возникнет неразрешимый, а то и прямо смертельный конфликт и конфликт этот предотвратить совершенно невозможно, – но это означает, что будущее способно реально вторгаться в настоящее, пусть в данном случае и в самом безобидном варианте безошибочного психологического предчувствия того, что – будет.

Так, произошло, в частности, в конце 2013 и начале 2014 годов, когда в Украине имел место на первый взгляд необъяснимый и мнимо немотивированный взрыв ненависти по отношению к российскому соседу, тогда еще не было ни взятия Крыма, ни Донбасских войн, а ненависть уже была, ее, конечно, можно объяснить событиями прошлого, но прошлое, сколь бы кровопролитным оно ни было, по самой своей природе источает покой и тягу к забвению, не то будущее: от него веет subtilным и глубоко метафизическим беспокойством, так что любое, даже самое счастливое будущее, внушает нам некоторое тонкое и необъяснимое беспокойство, – что же говорить тогда о будущем, чреватом полным разворотом на Запад и гражданской войной?

Вот не просто предчувствие такого будущего, а как бы абсолютно точное знание о нем, точно оно уже наступило, – вот оно-то и стало, по-видимому, причиной той односторонней и одиозной украинской ненависти к русским, которую нам так трудно понять.

Ну, а американцы ей только воспользовались.

## **Искусство непричастности**

**I. (Очевидные преимущества недеяния).** – Чем глубже и выстраданней наш жизненный опыт, тем парадоксальным образом дальше уходим мы от постижения сути жизни: ведь последняя не есть какая-нибудь кантовская «вещь в себе» (в таком случае мы как раз имели бы шанс посредством неординарного прорыва, полета или подползания, в зависимости от ситуации, проникнуть в ее сердцевину), но целокупное множество практически бесконечных взаимосвязей, – и вот, «вгрызаясь» в пласты жизни, как отбойный молоток вгрызается в камень, мы

всего лишь создаем свою туннельную нишу, и из нее уже, как из платоновской пещеры, рассматриваем и познаем мир, а другого способа постижения окружающей действительности нет, не было и не может быть, – так что в конечном счете чем тоньше стены пещеры и чем больше там светонесных окон, тем лучше мы можем видеть и осмыслять мир: логично, не правда ли?

Учитывая же то, что жизнь в основе своей противоречива и даже антиномична, так что и любой человек наделен чертами характера, которые мы часто не в состоянии связать воедино, получается, что, увлекаясь какой-то одной стороной повседневности или нашего ближнего – а в этом-то по преимуществу и состоит так называемый личный опыт – мы неизбежно упускаем другую и противоположную сторону, так что, по логике вещей, совсем не допускать болезненного вживания в какую бы то ни было проблему, нигде не искать добровольного (в отличие от навязанного обстоятельствами) страдания (которое в наибольшей степени определяет наше мировоззрение), ничему не дарить своего исключительного внимания, сил ума и в особенности энергий чувств, – это и значит как раз собственными руками превращать железобетонную пещеру богатой личным опытом биографии в прозрачную и светонесную обитель духовного бытия, зарубив попутно себе раз и навсегда на носу, что любой личный опыт может столько же давать человеку во второстепенном и психологическом плане, сколько отнимать от него в плане основном и духовном, – что он, кстати, этот пресловутый личный опыт, и делает.

Так странным образом после посещения Парижа мне почему-то трудней стало воспринимать деяния моих любимых мушкетеров плюс похождения героев Бальзака плюс изнеженно-жестокою атмосферу при дворе «Короля-Солнца» плюс кровавые оргии Великой Французской революции и плюс так далее и тому подобное на едином духе и в едином художественно-историческом пространстве, нежели до того, когда я знал Париж по разного рода фотографиям, фильмам, рассказам, описаниям, художественному чтению и, наконец, моим собственным представлениям о нем, – да, как ни удивительно, все это пестрое, разбросанное и многогранное восприятие помимо личного опыта визитера позволяло увидеть французскую историю и французскую литературу тем не менее в некоем первозданном целомудренном изумительном единстве, тогда как личный опыт узрения великого города «своими глазами» названное чудесное единство непоправимо разрушил.

Или, побывав в Греции, мне поначалу ближе стали красоты гомеровского эпоса, однако в итоге и очень скоро именно прилепившиеся к душе через ухо и глаза неотразимые физические подробности нынешнего греческого пейзажа сделали органичное и непосредственное – в этом все и дело! – восприятие фантастического мира Гомера делом затруднительным и даже почти невозможным.

Наконец, мой личный опыт с женщинами, как я могу судить, позволил мне узнать женщин на каких-нибудь десять процентов, а оставшиеся девяносто процентов я «добрал» от внимательного и ни к чему не обязывающего наблюдения за чужими и посторонними женщинами, причем чем меньше я о них знал (то есть я ничего о них не знал и знать не мог), тем полней и всесторонней были задействованы суммарные энергии моего ума и интуиции, а в этом-то и заключается смысл сведения к минимуму любого сугубо личного опыта!

Потому что, и это очевидно, личный опыт нам абсолютно необходим, для обретения его мы только и приходим на землю, но как смысл одного замечательного упражнения йоги под названием «поза змеи» состоит в том, чтобы, лежа на животе, как можно выше изогнуть верхнюю часть тела, без того чтобы оторвать пупок от земли, и как природа всегда и везде склонна идти кратчайшим путем, так желательно при минимуме личного опыта добиваться максимума духовного обогащения.

Блестящий пример указанной закономерности у всех нас перед глазами: Будде, согласно легенде, достаточно было одного-единственного наблюдения, а именно, что всех людей ждет болезнь, старость и смерть, и на нем одном он построил свое учение, – ясно, что меньше этого никакой личный опыт быть не может.

Итак, чем меньше по объему личный опыт и чем он, так сказать, нейтральней, то есть по возможности исключает любые дополнительные страдания (в которых апологеты противоположной точки зрения, типа Достоевского, усматривают, наоборот, единственный источник духовности) тем лучше, не забудем: самые великие творцы, типа Будды, Баха или Льва Толстого помимо классических болезни, старости и смерти никаких других страданий не узнали, а в наши дни непреходящую значимость вышеописанного духовного закона «максимума при минимуме» вам продемонстрирует любой мало-мальски продвинутый буддийский монах, который всю свою отшельническую жизнь провел в труде и медитации, но который, если вас поставят перед ним, расскажет о вас больше существенного, чем все ваши родные и близкие вместе взятые, включая вас самих, а заодно и как бы впридачу напомнит вам о вашей прежней жизни и намекнет о вашей жизни будущей, – вот и сравните подобные духовные откровения с нашими любыми мирскими личными опытами!

**II. (Быть или не быть – вот в чем вопрос).** – Просматривая историю и видя в ней разнообразные, красочные, бесчисленные и блестящие деяния, а также их творцов – тех самых пресловутых хрестоматийных «исторических героев», шире: любых выдающихся людей, которым, кажется, нельзя не позавидовать, потому что для чего же еще рождаться в этой жизни как не для того, чтобы оставить в ней «настоящий глубокий след»? – итак, бегло просматривая многотомную книгу историю, мы поначалу вроде бы завидуем ее главным героям, то есть людям, которые ее сделали, и все бы дали за то, чтобы быть на их месте, – однако, если мы дадим себе труд поглубже всмотреться в себя самих и задуматься о нашей внутренней непреходящей природе, мы будем вынуждены сделать весьма неожиданный для нас и очень даже парадоксальный вывод, а именно: будучи поставлены радикально перед выбором – быть там, в пекле событий и оставить навечно на скрижалях истории свое имя или остаться навсегда в тени, чтобы все эти знаменитые и судьбоносные события прошли мимо нас как сон или видение (что и произошло с нами как будто на самом деле), итак, имея подобный обоюдоострый выбор, нам почти невозможно было бы добровольно принять то или другое решение, а если бы нас все-таки принудили к нему, мы скорее выбрали бы второй вариант, чем первый.

То есть небытие не как пустая философская абстракция, а как центральная и чрезвычайно subtilная психическая энергия – в данном случае итоговое сознательное нежелание участвовать в бурной (исторической) жизни – осиливает бытие, и это интереснейший и принципиальный момент: разумеется, мы не в силах раз и навсегда зачеркнуть жизнь, выбрав так называемое «чистое небытие», – но последнее не существует в реальности, и доказательство его несуществования заключается как раз в том, что нам не дано категорически отказаться от нашей простенькой и «никчемной» повседневной жизни, однако мы это делаем как бы потому, что нет иного выхода, то есть эта наша скромная жизнь гораздо ближе стоит к реальному и сугубо относительному небытию, чем, например, богатая событиями жизнь исторического героя.

И потому наше отношение к нему глубоко антиномическое: с одной стороны, мы ему немного завидуем, потому что он врезался в жизнь так глубоко, как метеорит при падении врезается в землю, но, с другой стороны, он этим самым врезанием предельно отделился от тишайшего блаженного бытийственного покоя минимального деяния, к которому все мы инстинктивно стремимся, втайне предпочитая мелкие и как бы символические деяния повседневной жизни, которые наиболее сродни действиям, производимым нами во сне, тогда как тот же самый исторический герой подобен, как уже сказано, метеориту, который либо с громадной скоростью вращается вокруг своей смысловой планеты и ничто уже не может убавить скорость вращения, либо с неотвратимыми кармическими последствиями врезается в нее, а третьего для него не дано.

Человеческая история вообще для непредвзятого ума предстает как прекрасный античный город, разрушенный чудовищным (подобным Лиссабонскому) землетрясением: повсюду примечательные обломки, которым в культурном отношении цены нет, и все-таки, копаясь памятью и воображением в этих обломках, не говоря уже о реальном допущении, что это вы могли жить и творить в том античном прекрасном городе, и это вы – безразлично в каком смысле – лежите под его обломками, итак, слишком вживаясь в раскопки умозрительного города-истории, рождается ощущение (пусть слабое, зато неистребимое) заживо погребенного: не хватает воздуха и нет легкого дыхания, а та бессмертная слава, что веет над останками умерших героев (пожизненных граждан античного города), психологически не уравнивает отсутствие свежего воздуха, – вот и получается, что мы вечно обречены метаться между бытием и небытием, а жизнь, выступая в двух своих основных обликах: громкой жизни и тихой жизни, не только не облегчает наш решающий выбор, но прямо усложняет его до невозможности.

*III. (Великое лицезрение подъездной двери).* – Как подметил непревзойденный Кафка, чем дольше мы стоим перед дверью, куда хотим постучать и за которой нас не столько ждут, сколько мы сами ждем, что нас ждут, тем труднее нам постучать в нее, так что в конце концов, если невидимая черта ожидания перейдена, мы вынуждены тихо повернуться и уйти восвояси.

Правда, обычно этого не происходит, потому что повседневная наша жизнь расписана, как репертуар провинциального театра, и преодолеть гравитационную силу приглашения в гости нам, как правило, не дано, между тем, если дать себе труд вдуматься в сам по себе элементарный, но весьма неординарный феномен долгого лицезрения двери, то оно, это лицезрение, несмотря на свою изначальную комичность, может при определенных условиях трансформироваться в самое настоящее откровение.

И вот как это может произойти.

Когда мы стоим перед свершением поступка, который продиктован основным нашим настроением на данный момент, но тишайший голос интуиции не то что бы отговаривает нас от него, но советует нам как следует его продумать, потому что мы наверняка будем сожалеть о последствиях, и тогда нам придется взвешивать непреодолимый инстинкт деяния и неустрашимое сожаление от него, – так вот, тогда это обычно означает, что несвершение поступка ценнее, нежели его свершение.

И тогда мы впервые прикасаемся – не умом, а всем существом своим – к тому, что на заре Средневековья называлось отрицательной теологией, только там подразумевалось, что о Боге можно говорить лишь негативными определениями: что Он не есть на самом деле, потому что о том, что Он есть в себе самом, нам даже приблизительно не дано судить.

Но ведь и к миру можно относиться, как к неведомому Богу, и тогда получается, что любой поступок ведет к обогащению нашего внутреннего Я, независимо от того, какой знак стоит перед ним: плюс или минус, здесь опять перед нами первооснова человеческой психики с ее одинаковой открытостью как к добру, так и ко злу: наше Я склонно приобретать любые опыты, в том числе и сознательное делание зла другим, мы собираем такие опыты как грибы: главное – сначала сорвать и положить в корзинку, а потом уже, дома, при жарке разберемся, плохие они или хорошие.

Действительно, есть все основания полагать, что даже из самых мерзких деяний путем их искреннего осмысления и покаяния может со временем выйти что-то очень хорошее, а значит и их свершение было не только не напрасным, но даже в какой-то мере оправданным.

Очень скользкий, однако, и опасный путь, потому что, как бы сладко ни было покаяние в дурных делах и каким бы преображенным ни выходил из него человек – слова и музыка нашего Федора Михайловича – преображение это временное и неполное, главное же, оно полностью зависит от покаяния, довольно сладострастного, нужно сказать, чувства, а кроме того,

само покаяние напрямую зависит от дурных поступков: нет зла – нет и раскаяния, нет раскаяния – нет и очищения, и вот весь этот сложнейший, противоречивейший и в глубочайшей мере псевдо-духовный процесс, на котором, как на гвозде, висит все творчество Достоевского, застопоривается.

Я оказывается без питания, ему нечего переваривать, за неимением поступков – две трети из которых именно такие, которые лучше было бы не делать – оно вынуждено настраиваться на лечебное голодание, но последнее всегда целебно как для души, так и для тела, и в воздержании от скоромной пищи для внутреннего Я путем несвершения иных поступков, в которых нам придется когда-нибудь обязательно раскаяться, заключается громадный потенциал.

Здесь можно увидеть аналогию со сходными местами из каких-нибудь черновики к какому-нибудь роману, где герои тоже иной раз делают не то, что предполагает начальный и невызревший авторский замысел, и если автор вовремя не исправляет те поступки своих героев, которые, согласно художественной идее – а она, как известно, не ошибается – не должны были быть сделаны, то он потом неизбежно и горько раскаивается, как раскаиваемся и мы на каждом шагу в жизни, делая что-то такое, что лучше было бы не делать, причем от раскаивания трудно отучиться, оно сродни духовному хулиганству, а русский человек ой как любит похулиганить.

Вот если бы в содеянии иного зла видеть грубейшую стилистическую ошибку, которая портит нас как неважно кем задуманный, но на две трети нами самими непрерывно сотворяемый образ, ошибку, которую быть может уже и поправить нельзя, и которая, как любил говорить Талейран, хуже любого преступления... да, кто знает, – быть может, такое художественное сознание способно было бы куда эффективней нравственно очистить человека, нежели любая мораль, что говорю? так оно и есть на самом деле при ближайшем рассмотрении, иначе быть не может и никаких тут доказательств не нужно: достаточно просто внимательно и нелицеприятно взглянуть на ход истории, присмотреться к ее действующим лицам, а главное, как следует понаблюдать за самим собой.

И вот окажется, что, прослеживая на склоне лет искренне, беспристрастно и до последней глубины – это обязательное условие анализа! – сделанные и несделанные опыты жизни, приходишь к выводу, что в том случае, если мы могли совершить какой-то немаловажный для нас жизненный опыт, и все-таки по тем или иным причинам не совершили его, у нас в душе и почти помимо воли и сознательной работы ума является ощущение некоторой удивительной, безусловной и как бы первоначальной чистоты.

С другой стороны, параллельно и на одном дыхании, точно вторая ветвь на одном и том же суку, возникает в душе столь же удивительное и неотразимое в первоначальной чистоте своей ощущение сожаления насчет тех же самых несделанных опытов жизни: вот, мол, упущено уникальное бытийственное переживание, которое уже никогда не сможет повториться.

Догадавшись, что это и есть, пожалуй, два самых subtilных, глубочайших и антиномических ощущений, доступных человеку, что они знаменуют последние границы восприятия бытия, и что их поэтому можно сравнить опять-таки со Сциллой и Харибдой – с чем же еще? между которыми вечно плывет и движется наша жизнь... итак, догадавшись об этом, остается только проверить эту великую, но пока гипотетическую истину на собственном опыте.

У меня это произошло в прошлом году.

Перед Рождеством я опять стоял перед той подъездной дверью, справа от которой была вмонтирована в стену металлическая табличка с еврейским именем, людей, что там жили, я в последний раз видел тридцать пять лет назад, мы с первой женой изредка приходили в ним посмотреть телевизор и поболтать о том о сем, это были муж и жена, эмигрировавшие из России в начале семидесятых и осевшие в Мюнхене. Он, полненький, лысоватый, с курчавым высоким лбом и петушиным взглядом, она – высокая, стройная и очень спокойная, когда говорил он, умолкала она и наоборот, так что то великое и тайное, что их связывало, оставалось

всегда недоступно для их собеседника, и он уходил с тем ощущением легкой заинтригованности, благодаря которой общение никогда не бывает скучным, хотя в нем не было ничего, что можно было бы назвать нескучным.

Мы познакомились с ними через еврея-шофера, который нелегально перевез нас из Вены в Германию, сам он жил с женой и дочкой в Оффенбахе под Франкфуртом, мы у них прожили неделю, не зная куда податься и к кому обратиться, прежде чем волею случая осели в Мюнхене.

И вот, спустя полжизни, я опять стоял перед дверной табличкой, на кнопку под которой я столько раз нажимал давным-давно, время утекло как вода между пальцев, – неужели только потому, что прожил на чужбине?

Как же мне хорошо было здесь! и как тревожно думать о том, что моя западная и настоящая, как мне хочется думать, жизнь мне ни разу не приснилась, а снились и сняты лишь эпизоды и их фантастические вариации из той прежней и вечной, российской и саратовской жизни.

Значит ли это, что мою западную жизнь закон кармы слизнет, как корова языком? и я опять появлюсь на свет в каком-нибудь провинциальном российском городке? и опять начнутся сладость, беспросветность и ужас провинциального бытия – именно в том же порядке – а потом отчаянная попытка выбраться, и неизвестно, удастся ли она, и если удастся, я опять смирюсь с общим сюжетом жизни и буду с удовольствием умом и сердцем его обсасывать, а если не удастся... вот какие странные мысли приходят в голову.

Как бы то ни было, я очень большое внимание придаю снам, быть может, здесь сказывается моя природа игрока, – и сны как главный козырь могут в решающий момент либо выиграть игру под названием «смысл жизни», либо в пух и прах ее проиграть, а как это в точности произойдет, спрашивайте уже у тибетских буддистов: они знают.

Ну а с теми людьми мы расстались, как будто знали друг друга вечно, и потому регулярно отмечаться в знак приличия хотя бы раз в год было как бы необязательно, – вот мы и не отмечались, просто в соседнем доме практикует мой адвокат, и всякий раз направляясь к нему, я коротко заглядываю на знакомую табличку, быть может инстинктивно любопытствуя, живы ли мои давние знакомые: они были живы.

И вот теперь, наконец, спустя тридцать пять лет, я решил навестить их: у меня просто страсть встречаться с людьми раз в несколько десятилетий, в этом есть что-то нечеловеческое, я знаю, – но ведь и какое сверхчеловеческое величие! нет, что там ни говори, а только в общении, разделенном широким потоком времени, есть та монументальная значительность, которую не замутит никакая банальность, и это значит, например, что можно говорить все, что заблагорассудится – а выйдет прекрасно и величественно, – такого не бывает в повседневном общении, впрочем, это может быть и тайное оправдание все того же комплекса неполноценности в аспекте общения.

Итак, я уже решил, какой подарок я им сделаю, и положил его в корзинку для покупок, но перед самой кассой вдруг усомнился: а правильно ли я делаю? а что, если они совсем не рады будут меня видеть? подарок, чашка кофе, воспоминания... ну, а дальше? ведь провожая меня до двери, встанет вопрос о новом приглашении с моей или с их стороны, и нужно будет мучительно решать, поддерживать дальше отношения или ограничиться вот этим странным посещением, если поддерживать – то почему это нельзя было делать прежде, когда было и время, и силы, если же не поддерживать, то все это еще более странно и неприятно.

А кроме того, я вспомнил моих старых приятелей: итальянца и немку, с которыми мы дружили лет двадцать, потом они исчезли из моей жизни по причине развода с женой: общие знакомые как будто делят судьбу супружеского расхождения, однако я встретил их случайно на Зендлингертор – я был тогда со второй моей женой – и все пошло замечательно и лучше прежнего: они нам дали ключи от своего итальянского загородного дома, и мы там провели

самый лучший отпуск нашей жизни... но потом и это приятельство было вдруг прервано, я уже не помню, когда именно, почему и как.

Спустя десять лет, я, помнится, вдруг во что бы то ни стало захотел до них дозвониться, но не смог, и поехал к ним без приглашения, но застал одного Джакомо, и он мне открыл, как будто не удивившись моему приходу, и мы болтали, как прежде, и он мне показывал опять свою коллекцию марок и медалей, но когда я у двери попросил у него номер телефона, он сказал, что его у нет под рукой, и что он сам позвонит.

Никакого звонка, конечно, не последовало, и не было никакой взаимной обиды, наступила просто глубокая старость с его стороны, и у него исчезла потребность общения, а поскольку он тоже был таким же заядлым эгоистом, как и я, он не считал нужным объясняться и оправдываться.

Так мы и расстались навсегда, а знакомство с ним все-таки осталось в моей душе как одно из самых удачных и приятных, может быть, потому, что там ни на йоту не было тягостного и напыщенного интеллектуализма, столь неизбежного в общении между русскоязычными людьми.

Так к чему же я веду? ах, да, вспомнив о Джакомо, я окончательно понял, что мое неожиданное посещение тех людей из далекого прошлого было бы непростительной ошибкой, ибо прошлое слишком величественно, чтобы позволять без повода в него вмешиваться и делать из него прозаическое настоящее и все-таки, когда я выкладывал подарок из корзины, у меня было грустное чувство: я добровольно отказывался от одного из самых subtilных опытов и это можно трактовать как отказ от самой жизни.

Может быть и так, но в этом я вижу скорее достоинство, чем недостаток, все-таки что-то я приобрел взамен, – незапятнанная чистота прошлого тоже ведь чего-то стоит.

## **Не вполне апокалиптические звери**

*I.* – Раз подметив, что за многолетним идеальным браком может скрываться – и наверняка скрывается – обыкновенная и фатальная неспособность соблазнить или увлечь другую женщину (или мужчину), вдруг мгновенно осознав, что десятилетие за десятилетием отбывающие срок жизни супруги нашли для себя всего лишь благоприятнейшую с моральной точки зрения маску – безукоризненную в плане житейской игры, снимая которую боишься уже повредить лицо, – и вместе с тем столь же внезапно и остро почувствовав, что их не в чем упрекнуть, что в их лебединой верности может быть сокрыта «соль земли», и что так глубоко подкапываться под людей просто нельзя без того чтобы насчет тебя самого не возникли те же самые последние и страшные вопросы, – итак, осветив хотя бы с одного бока тусклым светом заскорузлого житейского сознания весь этот запутанный клубок (между прочим) центрального человеческого отношения, начинаешь невольно воспринимать не чужую или свою, а саму душу человека как таковую не в привычном амплуа абстрактной и безвидной – то есть доступной разного рода светоносным манипуляциям – противоположности тела, а в куда более правдоподобном качестве не слишком духовного – преувеличения здесь никому не нужны – но уж конечно и не сугубо материального – приземленность мышления тоже никому еще не помогла – образа: какого образа?

Учитывая земной ландшафт, принимая во внимание соотношение земли и воды на нашей планете, не переставая удивляться также невероятным красотам и пугающей загадочности океанских глубин – которые вопреки всякой логике и вопреки здравому человеческому рассудку исследованы в гораздо меньшей степени, чем космос (тогда как океан для нас бесконечно важнее, чем космос) – а главное, прислушиваясь к сообщениям о живущих в бездонных водах многообразных фантастических существах, превышающих наше воображение, – итак, подытожив все вышесказанное, единственно идентичный образ души напрашивается сам собой.

**II.** – Как, нырнув под какую-нибудь скалу и увидев там притаившегося спрута или водяную змею, мы, возвратившись на берег, невольно видим и бухту и небо и деревья и солнце и весь божий мир в каком-то новом и более остром, ярком и волнующем свете, – потому что подводные чудовища, являясь им полной противоположностью, в то же время, желая того или не желая, неизбежно продемонстрировали кровное единство всего на земле, в духе Маугли, повторявшего всем зверям: «Мы с вами одной крови, вы и я», – в том числе и тайную, пуповинную связь идиллически-прекрасной бухты, неба, деревьев и солнца со спрутом и водяной змеей, – так, внимательно всматриваясь вглубь собственной души, вплоть до тех ее дальних пределов, где самые страшные поступки из мрака полной невозможности подступают к полусвету возможного и готовы вот-вот шагнуть в область вполне вероятного и даже реального – при условии всего лишь крошечного изменения во внешних обстоятельствах или собственном характере, – мы естественно и закономерно обнаруживаем в своей душе, наряду с привычными идиллическими пейзажами, притаившихся за их красотами чудовищ.

**III.** – И вот тогда, оглядываясь на людей, которых мы считали до того безукоризненно чистыми и светлыми, то есть похожими на бухту и чудный пейзаж вокруг нее, мы делаемся вдруг смущены, и во взгляде нашем на этих неповинных ни в чем людей появляются оторопь и смущение, – и тогда опять, в который раз, свершается предвечное грехопадение, – то есть мы начинаем смотреть на ближних наших, изыскивая в них притаившихся в глубине спрутов и змей; и если мы их даже не нашли – а так, как правило, и происходит – мы никогда уже не забудем самой возможности их существования в душе любого без исключения человека, и в этом, собственно, нет ничего дурного, напротив, если и есть реальная возможность возлюбить ближнего, то только благодаря существованию чудовищ и в нас и в нем одновременно: просто эти чудовища должны как-то гармонировать между собой, но ведь гармония и есть душа искусства.

**IV.** – Стало быть, любовь суть тоже в первую очередь искусство, что и требовалось доказать.

### **Без вины виноватые**

**I. (Приглашение на казнь).** – Если мы действительно любим людей за то добро, которое им делаем, и ненавидим их за то зло, которое им причиняем, то все-таки нельзя не отметить, что, даже причиняя им зло, мы испытываем раскаяние, хотя при этом не отрекаемся от содеянного: и потому, сделав им зло и преисполнившись чувством вины, которое, впрочем, никогда не идет так далеко, чтобы вычеркнуть содеянный поступок из списка бытия, наше сочувствие к страдающему от нас человеку напоминает мучительное, но бессильное и бесполезное сострадание того высунувшегося из окна верхнего этажа дома, примыкавшего к каменоломне, и невольного свидетеля казни К., который для пушного театрального правдоподобия не только порывисто наклонился далеко вперед, но еще и протянул руки вдаль.

Кто это был? – спрашивает Кафка. – Друг? просто добрый человек? – нет, это был скорее хрестоматийный Кай, то есть каждый из нас.

Кафка не описывает взгляд того сострадающего человека, но любой из нас, вспомнив себя в вышеописанной классической ситуации причинения зла ближнему при одновременных укорах совести и без какого-либо раскаяния, дорисует этот взгляд в своем воображении, – потому что он слишком часто наблюдал его в зеркале.

**II. (Двойная ошибка).** – Даже самые наши близкие родственники и друзья, то есть люди, которых мы единственно в состоянии тепло и искренне любить, иной раз переступают заветную невидимую черту, – то есть совершают поступок или начинают вести образ жизни, которые с нашими, а может быть даже и с общечеловеческими понятиями о Добре, Красоте и Правде несовместимы.

Мы в таких случаях от них не отрекаемся, но и не скрываем своего полного с ними несогласия и, если они упорствуют, в нашем отношении к ним, хотим мы того или не хотим, начинают сквозить холодность и отчуждение: положим, это всего лишь своего рода маски, скрывающие наше сочувствующее лицо и добрые участливые глаза, но наши «провинившиеся» родственники и друзья, видя вместо привычного лица холодную маску, растеряны и шокированы, они пылливо заглядывают нам в глаза, пытаюсь увидеть, что под маской, – однако под нею обычно другая маска, пусть менее холодная и более приветливая, но это все еще маска, потому что мы твердо решили не открывать лица до тех пор, пока наши подопечные не вернутся на путь истинный.

Процесс воспитания может продолжаться сколь угодно долго, но беда в том, что когда мы поймем, что на верном пути были все-таки они, а не мы, будет уже поздно: та самая холодно-отчужденная маска, которую мы так долго носили на лице, станет уже отчасти нашим собственным лицом и в особенности пострадают наши глаза: тот молчаливый упрек и уверенность в собственной правоте, которые так неприлично доминировали в нашем взгляде, теперь навсегда будут отражаться в зеркале и скрываются от них нам будет уже некуда.

**III. (Ложная эстетика покаяния).** – Поскольку характер и внешние обстоятельства связаны самым тонким, но и самым глубоким, то есть музыкальным образом, постольку и любые поступки людей, в том числе даже вопиющие к небу, в известном смысле необратимы, они в полном смысле слова судьбоносны, а стало быть и раскаянию – этой мнимой панацее от любых нравственных заболеваний – места в космосе нет, точнее, раскаяние есть воображаемый и по жанру религиозно-поэтический феномен: раскаяться означает по сути отказаться либо от частицы своего прошлого, либо от частицы собственной души, но ни то, ни другое невозможно.

Так всякий, кто более-менее знаком с современными немцами, знает, что в глубине души они в грехах Второй Мировой войны нисколько не раскаялись – и не потому, что они хуже других наций, а потому, что требовать от них искреннего и глубокого раскаяния все равно что ждать, чтобы они прыгнули выше головы, они просто не понимают, чего от них хотят, – и они правы: ведь что происходит в процессе покаяния? когда мы в чем-то каемся, мы на словах отмежевываемся от предмета, а по сути только тоньше к нему привязываемся, потому что преступление и покаяние неотделимы друг от друга, как ночь и день, и чтобы испытать это очищающее душу блаженство покаяния, нужно прежде обязательно совершить преступление, а чтобы снова испытать это блаженство, надобно опять совершить преступление, хотя бы мысленно, и даже не совершая нового преступления, можно каяться, например, о том, что прежнее покаяние не достигло цели и, почитая неспособность к истинному покаянию своего рода субтильным душевным преступлением, каяться о нем снова и снова, разворачивая дальше, точно гигантскую ядовитую змею, всю эту магическую цепь греха и покаяния, – вот почему буддисты категорически отвергают душевную пользу покаяния и особенно перед смертью: ведь именно в последние часы жизни судьбоносная или попросту сюжетная (что одно и то же) связь греха и покаяния может обнаружить настолько неодолимую власть над ослабевшей от предсмертных страданий душой, что навязет ей (элементарной силой искусства) неблагоприятные кармические последствия, то есть все тот же сюжет преступления и покаяния, но в ином художественном (жизненном) варианте.

Действительно, как часто бывает, что конфликтующие стороны, сами того не желая, «подливают масло в огонь»: совершив столь же прекрасный, сколь и бесполезный ритуал покаяния, они остаются убеждены, что вот теперь уже точно подготовлена почва для дальнейшего сближения, и препятствия на пути к тесному и сердечному общению – ведь как прекрасно обняться со своим смертельным врагом! – раз и навсегда раскаянием, а также сопутствующим ему «содействием свыше» устранены: люди идут навстречу друг другу, а сами в глубине души с ужасом чувствуют, что свернувшаяся в сердце змея взаимной неприязни не только не убита, но в тишине начинает спокойно расправлять кольца, и, уязвленные ее ядом, разочарованные в себе и в противнике (ведь ни раскаяние, ни божественная любовь не произвели на тех и других никакого действия), они с утроенной ненавистью и к противнику и к себе самому – что немаловажно! – бросаются в пожирающий огонь конфликта.

А что, собственно, произошло? просто эти люди пренебрегли своим космическим сюжетом: ибо как одним планетам надлежит вращаться вокруг других на порядочных расстояниях, так что они практически и знать друг о друге не знают, так иным людям и иным нациям надлежит сохранять великую дистанцию, ибо она, дистанция – космический закон, а не любовь, о которой нам протрубили все уши, – итак, несоблюдение дистанции прямоком ведет к коллапсу, а невозможность любви вызывает тайное чувство вины, в свою очередь подталкивающее нас в объятия еще более разрушительного механизма покаяния.

*IV. (Якорь мира сего).* – Чувство вины, если оно слишком сильно, ведет к желанию устранить с лица земли как того, кто является его источником, так и в конечном счете себя самого, то есть без всяких сомнений это один из самых страшных механизмов разрушения и саморазрушения, но если чувство вины присутствует в слабой степени, оно может парадоксальным образом даже сближать людей: причиняя человеку некоторую боль или обиду, мы затаиваемся благородным желанием возместить их и компенсировать, принуждая себя тем самым сделать шаг, на который без предварительного создания состояния неравновесия путем чувства вины у нас быть может не хватило бы энергии, однако вся беда в том, что невероятная динамика, скрытая в комплексе вины, обладая тенденцией роста в геометрической пропорции, не имеет той первобытной чистоты, без которой межчеловеческие отношения остаются глубоко проблематическими по сути: но ведь это-то больше всего и нужно людям, если присмотреться! чувство вины, таким образом, можно уподобить и наркотику, дозу которого приходится постоянно увеличивать, иначе не почувствуешь эффекта, и хронической болезни, которая постепенно перерастает в смертельную, и пробоине в днище судна, которая пропускает все больше воды, пока корабль не потонет... и тем не менее, при всем смертельном драматизме, заложенном, можно сказать, на генетическом уровне чувства вины и греха, человек, то есть обыкновенный человек, каких девяносто девять процентов, не может жить без вины и греха, он предпочитает их любой внутренней чистоте, и он тянется к ним как библейский Адам к гранатовому яблоку, потому что чувствует всем нутром своим, что без вины и греха нет любезной его сердцу жизни земной, без вины и греха начнут произвольно и необратимо очищаться его мысли и чувства, без вины и греха с ним случится... вот именно, что? да то, что в один прекрасный момент все существо его может сделаться настолько легким и светоносным, что он как воздушный шар воспарит от земли в иные и горние сферы, а вот этого он боится больше всего на свете! и потому – да здравствует чувство вины! да здравствует первородный грех! и да здравствует бог, который втайне предпочитает грешника праведнику!

*V. (Загадочное испытание).* – Причиняя ближнему незаслуженную боль, мы проникаемся чувством глубочайшей вины к нему, и хотя, как верно подмечено, мы никогда не простим ему этой нашей вины перед ним, все-таки раз вошедшие в мир боль и вина за нее никогда уже мир не покинут: в них вечная гарантия того, что мы и ближний наш отныне до скончания века

будем привязаны друг к другу кармическими цепями покрепче галерных, – но как и почему такое произошло? да очень просто: ведь наверняка были в том нашем ближнем черточки, из-за которых мы хотели от него удалиться, но были в то же время и другие черточки, те самые нам бесконечно дорогие и родные, из-за которых нам хотелось с ним остаться, – и вот, не в силах отделить зерна от плевел и не желая в то же время их совместной выпечки, мы прибегли к этой крайней и по сути преступной мере: мы соединили себя с ним навсегда посредством причинения ему нестерпимой боли.

Это невероятно, но мне почему-то кажется, что именно такова тайная причина того самого чудовищного и непонятного людям испытания Богом Авраама, о котором мы читаем в двадцать второй Главе первой Книги Моисея: в самом деле, может ли Исаак простить отцу, что тот без малейших сомнений готов был заклать его как жертвенное животное? может ли такое простить отец самому себе? и могут ли они оба подобное невероятное жертвоприношение простить Тому, Кто его организовал? но прощение или непростение со временем уходят, а кровная связь между теми, кто причинил боль, и теми, кто ее принял, остается на вечные времена, и она, эта связь, быть может, крепче и выше самой любви.

### **Подражание Ницше (раннее)**

Большие иль малые мира сего —  
как сходны они без одежды!  
поистине, нет в них и тени того,  
что наши сулили надежды.

Пусть первым дано (махаонами став)  
расправить гигантские крылья —  
не скроют они, что их тела состав  
весь соткан из снов и... бессилья.

Одних только мелких страстей и обид  
не счесть, как не счесть унижений —  
накинули хоть бы насмешливый вид  
во время кумирслужений.

Вторые же... те прокляты век на весах  
отмеривать скорбь и страданья,  
безумно надеясь за них в небесах  
хоть йоту купить воздаянья.

Но будет оплакать и им суждено  
ту правду в слезах избыточных,  
что бог отвернулся от слабых давно,  
как он отвернулся от сильных.

И наше участие от них утая,  
проститься мы с ними готовы:  
осмотр наш окончен, оденьтесь, друзья, —  
чтоб мы полюбили вас снова.

**Золотое равновесие доверия.** – Если действительно безоговорочное доверие к чужому и постороннему человеку, как заметил Мишель Монтень, является верным признаком истинной (потому что отчасти детской) любви к Богу – тогда как, наоборот, посещение церкви, соблюдение постов, произнесение молитв и прочие аналогичные поступки так называемых религиозных людей следует назвать скорее ложными признаками – то тут необходимо обратить внимание на сопутствующие детали: в них и только в них – да и могло ли быть иначе? – заключается вся суть дела!

Ведь как часто один человек, доверяя другому, все-таки в глубине души догадывается, что тот в конце концов не оправдает его доверия, и обычно так именно и происходит, и можно было бы, конечно, предположить, что, поскольку второй догадывается, что ему все равно не вполне доверяют, он и не лезет из кожи вон, действуя по принципу: ты думаешь, что я плохой? ну так я и буду плохим! однако проще и легче объяснить происходящее элементарной раскладкой характеров: каждый преследует только свои интересы, и так всегда было, есть и будет.

И потому, чтобы на сцену вышел чрезвычайно редкий (поскольку довольно независимый от уз повседневности) и любопытный персонаж Человеческой Комедии под названием Доверие, должны быть соблюдены кое-какие театральные – и они же сугубо жизненные – условия: во-первых, нужно, чтобы первое действующее лицо – то, которое доверяет – обладало добродушным и щедрым нравом и не слишком стремилось копаться в чужой душе, во-вторых, необходимо, чтобы второе действующее лицо – то, которому доверяют – не терпело большой материальной нужды и в особенности не имело нуждающихся родственников, ради которых правым и неправым образом будут отпускаться средства из золотого фонда Доверия, в-третьих же и самое главное, оба главных персонажа, сопряженных святыми узами Доверия, не должны быть по-человечески слишком связанными или, наоборот, чересчур отдаленными, потому что в обоих случаях Бог, таинственно ими занятый, будет снова отеснен на задний план сугубо человеческими (положительными или отрицательными) эмоциями.

**Зимний ландшафт с уткой, лебедем и городскими жителями.** – Когда в середине февраля в погожий солнечный денек после полудня вы прогуливаетесь по какому-нибудь мюнхенскому городскому парку с обязательным озерцом и идиллическим домиком на островке посередине, а вокруг пахнет уже весной, но еще зима, когда вы замечаете вмороженные в тонкую пленку льда ветки и куски мусора и на полном серьезе радуетесь своему наблюдательному дару, когда вы, далее, заглядываетесь на плавно выгибающиеся в темной оттаявшей воде у самых берегов отражения деревьев и резвящихся подле них уток (одна из них все старается встать на ледяную полоску, по несколько раз вскарабкиваясь на ледок, уродливыми лапками шлепая туда-сюда, серебристая пленка неизменно подламывается под ней, и утка, точно капитан на мостике тонущего корабля, с достоинством идет вниз, но снова и снова, точно только для того чтобы поразвлечь зрителей, повторяет свой опыт), и когда вы, наконец, заканчиваете ваше праздное наблюдение созерцанием неподалеку плавающего одинокого лебедя, который достает отяжелевшие, затонувшие наполовину куски хлеба, время от времени с характерной пристальной недоброжелательностью всматриваясь в стоящих на берегу людей, точно ожидая от них более вкусной пищи, а те благосклонно переглядываются и обмениваются ничего не значащими замечаниями, – тогда... но тогда вы просто не сможете не припомнить не однажды виденные вами в европейских музеях старые голландские пейзажи с простолюдинами вокруг замерзших водоемов.

«Насколько же ничего не изменилось на земле!» – невольно подумаете вы, – и как же все поминутно меняется!» – придет в голову следующая мысль: ведь между теми приплюснутыми, бесшабашными и слегка придурковатыми жителями тогдашней Голландии – неужели они на самом деле были такими? – и нынешними прилично-разношерстными обитателями земли немецкой казалось бы нет ничего общего! казалось бы... а на самом деле общность есть,

но она настолько субтильная, что на нее не сразу даже обратишь внимание, и тем не менее только она и она одна, как та знаменитая бесконечно малая величина в математике, способна удовлетворительно решить уравнение человеческой жизни, которое, помимо сложных и недоступных обычному человеку конечных результатов, пытающихся определить, например, связь отдельной жизни с предшествующими и последующими жизнями, а также с другими бытийственными измерениями, говорит нам всегда одно и то же, а именно: то, что людей сближает, все-таки самих людей характеризует больше, чем то, что их разделяет.

*Почему Шерлок Холмс нам все-таки бесконечно дороже Гамлета.* – Сама жизнь испокон веков показывает нам, что человеческая природа, во-первых, преступна по определению, во-вторых, убийство ближнего есть краеугольный камень человеческой преступности, в-третьих, мотивы убийства настолько многообразны и пустяковы, что даже не верится подчас, что они могли послужить причиной убийства, но в то же время, как мы помним, главный смертный грех укоренен в душе на тех же правах, что и смерть в теле, а это значит, что самые чудовищные преступления скрываются под самыми обыкновенными оболочками и вытекают из самых обыкновенных обстоятельств, и никакой психологический анализ не в состоянии удовлетворительно объяснить это странное и по сути глубоко загадочное соединение «самого чудовищного и самого обыкновенного», – так что даже призрак убиенного, которому открылись иные тайны, скрытые пока для простых смертных, явись он перед нами и попытайся объяснить, кто и зачем его убил, не сможет этого сделать.

А если так, то не лучше ли раз и навсегда прекратить поиски «вещи в себе» и обратиться к явлению? эту задачу и выполняет великий сыщик, причем с гораздо большей убедительностью и правдоподобием, чем великий знаток человеческой души, писавший под именем Шекспира: самое же главное, в одном случае мы имеем художественный мир, в котором нет ни единой детали, которую мы не могли бы поближе рассмотреть и пощупать, иными словами, мы в этом мире в самом буквальном значении слова как у себя дома, тогда как в другом художественном мире все нам бесконечно чуждо, и мы в нем – как гости, которые, заплатив входной читательский билет за право приобщиться к «шекспировскому гению», должны рано или поздно покинуть спектакль.

А вот мир Шерлока Холмса покидать не нужно, он как родная квартира, как наша улица, в конце концов как те же розановские «штаны» («Литература это мои штаны»), что валяются на стуле, одел – и пошел: да, пожалуй, нет в мировой литературе более уютного пространства, чем квартира на Бейкер-стрит за несуществующим номером 221 В, шире – чем туманный Лондон, в котором вечный Каин убивает своего вечного брата Авеля, еще шире – чем вся добрая старая Англия, где убийство как одно из центральных проявлений бытия человеческого с легкой руки Шекспира стало основной литературной темой, и где спустя пару столетий с легкой руки Артура Конан-Дойля убийство как драгоценнейший бриллиант человеческого развлечения было облечено в достойную камня оправу общественно-космического уюта.

Итак, убийство по духу и букве своей столь же уютно, как сидение со стаканом виски перед вечерним камином: но ведь это и есть центральная перспектива взгляда на преступление в нашем цивилизованном обществе, и создатель Шерлока-Холмса здесь ничего не выдумал, – и как уютно прозябает преступный замысел в глубинах души человеческой, пока не настал его час выйти оттуда, так точно не менее уютно все его совершение и раскрытие (или нераскрытие), потому что соотношение преступного замысла с прочими тесно окружающими его душевными компонентами точно такое же, как реальное соотношение преступника с окружающими его обитателями города и мира: иными словами, они неотделимы друг от друга, и туманный Лондон так же трудно представить помимо скрытых в его недрах преступников, как человеческую душу без преступных инстинктов, – ну, а то чисто читательское удовольствие, которое мы получаем от чтения «Шерлока Холмса», и которое в разы превосходит удоволь-

ствие от чтения «Гамлета», – оно просто подтверждает на эстетическом уровне подмеченную и описанную выше общечеловеческую психическую закономерность.

**Запоздалая рецензия.** – Когда литературный роман описывает главу преступного клана, перенимающего серьезную и почти отцовскую ответственность за всех своих членов, так что каждый из них, при условии лояльности, может быть абсолютно спокоен за свое будущее и будущее своей семьи, и решительно ничто не может угрожать его жизни или благополучию, кроме, разве, гибели самого протеже, далее, когда каждый из членов клана по возможности занимается тем, что ему больше всего лежит и не лезет туда, где он только все напортит – то есть хотя бы на довольно малом участке жизни имеет место довольно большая гармония – когда, помимо этого, любой член клана может получить от главы его в разумных пределах услугу, которую ему даже приблизительно не окажет никакой другой человек и никакая другая организация, а взамен он тоже, конечно, должен будет оказать услугу, которую от него когда-нибудь потребует заимодавец, но эта услуга такого рода – и здесь вся пуанта – что оказать ее не только возможно, но и приятно, когда, переходя к драматическим пружинам, иные члены клана, не получив у себя дома того места, на которое рассчитывали – но это потому, что, как безошибочно определил глава клана, им от природы не дано было занимать данную должность – переходят скрыто к врагу, и пощады им отныне быть не может, потому что они сами себе своего предательства никогда не простят, когда, продолжаем, все абсолютно мысли, чувства, намерения и поступки близких и дальних людей главой клана по возможности ловятся, учитываются и обязательно вознаграждаются или караются, – так что и полет воробья над его головой не проходит бесследно, но имеет какие-то невидимые, однако далеко идущие и поистине кармические последствия, – когда простые люди обращаются к главе клана за помощью, и в этой помощи, как и в самом обращении можно увидеть как дьявольские, так и божественные черты, причем в одинаковой мере и одинаково глубоких измерениях, так что лучший друг юности главы клана, заболев раком, всерьез попросил того замолвить за него словечко перед Богом, – и это звучит вполне правдоподобно и убедительно, и когда, наконец, будучи тяжело ранен и потеряв старшего сына, глава клана оказался на грани крушения дела своей жизни, но его спас младший сын, однако какой ценой? ценой отторжения по причине демонической мстительности и невозможности прощать всех тех людей, кого умел от природы и щедро привлекать отец, так что сама художественная конфигурация отца и сына ничем не уступит паре Болконских, – да, вот тогда самое время обратить внимание на рождение без каких бы то ни было преувеличений гениальнейшего произведения искусства, которое, несмотря на мафиозную тематику, достигает и композиционно, и психологически уровня самых великих романов, а поскольку без внимания этот роман не остался и даже приобрел колоссальную популярность, остается только сказать, что он все равно остался недооцененным, – в том смысле, что его никогда не поставят в один ряд с романами самыми великими и классическими, – и напрасно.

**Вопрос ребром.** – Не кажется ли вам, что роман как жанр окончательно исчерпал себя – и не потому даже, что в наше время практически не пишутся выдающиеся романы (которые всегда в единственном числе), зато пишутся романы, мягко говоря, не вполне выдающиеся (имя которым легион), а потому, что слишком очевидной стала сама условная природа романа как жанра? и дело тут в том, что правда о любом человеке таится во времени как душа в теле, – так что чем больше временные промежутки, тем существенней в них раскрывается человек, а вот это-то для любого романа все равно что смерть: заряженное умной игрой художественное деяние, в чем бы оно ни заключалось, нуждается в сравнительно коротких промежутках времени (так называемое классическое единство времени, места и действия), – и никогда никакой герой романа не может фигурировать в пределах игрового пространства, разделенного годами, а то и десятилетиями, то есть получается, что самое важное и интересное в художественной литера-

туре всегда происходит в течение довольно ограниченного времени, иначе теряется напряжение повествования, без напряжения нет связующей музыки, а без музыки нет вообще ничего.

Но ведь узнавать, как человек, а заодно и его ближайшее окружение меняются на протяжении десятилетий, есть без преувеличений самый интересный опыт, доступный человеку, однако этот опыт, как уже сказано, с жанром романа несовместим, и потому приходится выбирать: либо живую и неподдельную правду о человеке, либо умную и талантливую (в лучшем случае) выдумку о нем, – так что же нам выбирать?

**Как говорится «просто ни к чему».** – После долгих и трудных поисков отыскав, наконец, «единое на потребу», невольно начинаешь относиться ко всему прочему как к чему-то такому, «что по большому счету ни к чему», – и просто поразительно, с какой филигранной точностью это странное и несуразное определение «ни к чему» описывает суть проблемы: ведь речь здесь идет ни о чем другом как сознательном отказе от вспаханных поначалу ищущим духом и почти уже вывернутых им наизнанку целых пластов культуры, – боже, какие там отыскались богатства! как они смогли бы обогатить эрудицию! но что такое эрудиция как не ударный кулак культивированного тщеславия? а человек по природе своей ищет все-таки пищи для души, и пища эта в конце концов столь же проста, сколь и изысканна: она состоит всего лишь из хлеба, воды да божественной амброзии, причем у каждого свой хлеб, своя вода и своя амброзия, – и вот вкусив их однажды в том самом, вами одними для себя найденном и для вас одних предназначенном сочетании, вы уже не сможете есть другую духовную пищу, а потому рано или поздно на вопрос какого-нибудь очень доброжелательного и очень культурного человека: «Разве вы не читали такого-то и такого-то автора?», вы просто с улыбкой пожмете плечами, и на его естественный и неизбежный упрек: «Но ведь его нельзя не читать», вы произнесете ту самую золотую формулу: «Да, но мне это ни к чему»: поверьте, это и будет последним и решающим доказательством того, что «единое на потребу» вами, наконец, найдено, и ничего уже больше, к счастью, искать не нужно.

**Добрый старый слуга.** – Наши основные (то есть врожденные и практически неустрашимые никем и ничем) страхи подобны нашим же старым и верным слугам, которые, служа нам верой и правдой, оберегают нас не только от опасностей мира сего, но и от дверей в Неизвестное, а между тем только смело и опрометчиво открыв одну из них, можно войти в новый для себя мир, тогда как другого входа туда, к сожалению, нет, – итак, наши слуги-страхи, будучи к нам приставлены от рождения, зная нас как облупленных, догадываясь своей безошибочной интуицией, что есть все же на этом свете двери, точно созданные для того, чтобы мы через них вошли, тем не менее на всякий случай и по привычке устраивают неприличную потасовку с нами всегда и без исключения, когда судьба сталкивает нас лоб в лоб с подобной дверью: и разыгрывается в тот момент одна и та же, наполовину комическая, наполовину трагическая сцена, когда мы и наш конкретный персональный страх, схватив друг друга за грудки, пыхтя и злобствуя, катаемся молча по полу, но в конце концов, как и полагается, мы берем верх, поднимаемся, перешагиваем через побежденный страх, открываем заветную дверь – там, свет, воздух и новая жизнь! – делаем шаг в только что завоеванное с таким трудом жизненное пространство, глубоко забираем в легкие опьяняющий тонкий эфир, а потом с некоторым виноватым упреком оборачиваемся к нашему незадачливому слуге, как раз поднимающемуся с пола: «Мол, что же ты нас удерживал?», однако тот чертыхаясь и отплеываясь демонстративно смотрит в сторону: догадываемся ли мы, что делает он это, как и подобает образцовому старому слуге, единственно из благородного побуждения – чтобы мы сами не догадались, что он боролся с нами только для вида?

**Первый друг детства.** – Любая гармония рождается из хаоса, это знали уже древние эллины, но задача состоит в том, чтобы прочувствовать эту великую истину на собственном опыте: я убежден, что наша российская провинциальная жизнь является одним из великолепных образчиков первородного хаоса, – так есть ли там гармония, и если есть, как она возникает?

Кажется, когда я учился в третьем классе, учительница по литературе попросила меня остаться после уроков и наедине сообщила мне, что некий мой одноклассник очень хотел бы со мной дружить, но не решается сделать первый шаг, – так не пошел бы я ему навстречу? тот мальчик плохо учился, отличался уединенным нравом, но был мне скорее симпатичен, чем наоборот, и вот я согласился, и он начал заходить ко мне домой, мы все что-то строили, кажется, какие-то кораблики, заодно я, конечно, помогал ему в учебе, – но однажды, катаясь вечером на коньках, он нашел какую-то интересную палку, которая неизвестно чем мне приглянулась, и я очень захотел ее иметь, я стал просить моего нового друга уступить мне ее, но, наверное, просьбы мои имели слишком требовательный характер, во всяком случае он наотрез отказался мне ее давать, и я в запальчивости заявил, что он об этом пожалеет, а он в ответ лишь пожал плечами: я покатил от него прочь и весь вечер не подходил к нему, но каково же было мое удивление, когда на следующий день в классе мы даже не взглянули друг на друга, точно он стал невидимым для меня, а я для него, – и так прошла неделя, месяц, год и все последующие годы – пока мы не расстались навсегда: много бы я дал, чтобы понять, что же это за страшная невидимая сила вдруг, воспользовавшись самым пустяковым поводом, встала между нами, сопливыми мальчишками, и не позволила не только объясниться, извиниться, встряхнуться и посмеяться над случившимся казусом, как это потребовал бы от нас любой взрослый, узнай он о происшедшем, но, вызвав в нем по-видимому чудовищную и нечеловеческую гордость, а во мне столь же чудовищный и нечеловеческий тихий гнев, продемонстрировала в который раз, что чувства, из которых лепились и лепятся иные любопытные, пусть извращенные персонажи мировой литературы, не умерли, но продолжают существовать в хаотически-разбросанном состоянии повсюду и всегда, даже в российской провинции конца шестидесятых прошлого века, поводом же или сюжетной завязкой к их появлению послужила просьба нашей учительницы – она руководствовалась при этом наилучшими побуждениями – искусственным путем создать отношение, которое никак не могло бы возникнуть естественным образом.

Вот и получается, что гармонии, рождающейся из хаоса, в точности соответствует происхождение художественного бытия из недр сырой и черновиковой жизни.

## **Неисповедимые пути самого близкого родства**

**I. (Оглядываясь назад из будущего).** – У какого-нибудь метрополитенового киоска, в субботу: стайка молодых парней и тут же пара девочек, все в облегающих джинсах с прорезями на коленках и свитерах, доходящих до бедер, девочки с прекрасно контролируемым восхищением слушают статного парня в черной мотоциклетной куртке и модных остроносых ботинках на скошенных каблуках, парень о чем-то с интересом рассказывает, и его по-мужски невозмутимое спокойствие никак не затрагивается полувлюбленными девическими взглядами и смехом, – он весь в рассказе.

И вот, проходя мимо него, я как-то очень внимательно посмотрел на него, а он, прервав рассказ, тоже против воли задержался на мне взглядом: он не мог знать, что причиной моего долгого взгляда была странная конфигурация в моем роду, которую, если бы она имела место в семье знаменитого человека, наверняка назвали бы либо трагедией, либо мистерией, либо проклятием.

Дело в том, что где-то к тринадцати моим годам мой отец и я вдруг почувствовали взаимное полное расхождение и, не сказав друг другу ни слова, тихо и мирно разошлись, как рас-

ходятся на улице малознакомые люди, столкнувшись и поговорив ради приличия пару минут, – и что интересно: никогда с тех пор ни он во мне внутренне не нуждался, ни я в нем, – так что о комплексе «недостающего отцовства» с моей стороны и речи быть не могло.

И ладно бы одно только это, но история почти полностью повторилась с моим собственным сыном: с той лишь разницей, что мосты в наших отношениях не были никогда до конца сожжены и родственное тепло сохранилось, однако тот факт, что, встречаясь иногда раз в месяц или два – и живя по соседству – мы ощущали такую же душевную комфортность, как будто расстались только вчера, говорит о многом.

О чем же? прежде всего о том, что родственные отношения зиждутся на тех же самых законах, что и супружеские: законах гармонии и тайного соответствия, но супруги могут разойтись, а родственники – нет, хотя мне с моим отцом это удалось, быть может, благодаря моей эмиграции, – однако желаю ли я аналогичного развода с моим сыном? ни в коем случае, хотя очень страдаю от невозможности дальнейшего сближения; больше же всего меня смущает то обстоятельство, что не однажды я встречал в жизни мальчиков и парней, ровесников моего сына, которые тянулись ко мне сильнее, чем мой сын, и инстинктивная симпатия к которым тоже местами осиливала мое отцовское чувство.

Вот в этом состоянии душевной размягченности и раздвоенности, как мне кажется, я и засмотрелся на того парня в мотоциклетной куртке и остроносых ботинках, а он, точно прочитав мои мысли, забыл на время о своем рассказе: впрочем, что я говорю? тогда еще мой сын не родился, ну и что из этого? как будто это что-то могло изменить.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.